
Анатоль Франс
ТАИС


2668.



Анатоль Франс

ТАИС



Государственное Издательство
Карельской АССР
ПЕТРОЗАВОДСК · 1958

ANATOLE FRANCE

THAIS

Перевод с французского *Е. А. Гунста*
Комментарии *С. Р. Брахман*

Печатается по изданию. Анатоль Франс. Собрание сочинений в восьми томах, том 2. Гослитиздат, Москва, 1958

Анатоль Франс

ТАИС

Редактор *Р. П. Кяйвяряйнен*
Художественный редактор *Л. Ф. Кузнецова*
Технический редактор *О. Б. Петрова*
Корректор *М. М. Суйкканен*

*

Сдано в набор 20/III 1958 г. Подписано к печати 16/V 1958 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ — 6,25 печ. *л.* = 8,56 уч.-изд. листа. Госиздат № 51. Тираж 150 000. Заказ № 426.
Цена 3 руб. 10 коп.

Госиздат Карельской АССР, Петрозаводск, пл. 25 Октября, 1

*

Книжная типография Министерства культуры Карельской АССР, г. Сортавала, Карельская, 32



В те времена в пустыне жило много отшельников. По обоим берегам Нила раскинулись бесчисленные хижины, сооруженные из ветвей и глины руками самих затворников; хижины отстояли друг от друга на некотором расстоянии, так что их обитатели могли жить уединенно и вместе с тем в случае надобности оказывать друг другу помощь. Кое-где над хижинами возвышались храмы, осененные крестом, и монахи сходились туда по праздникам, чтобы присутствовать при богослужении и приобщиться таинствам. На самом берегу реки встречались обители, где жило по нескольку монахов; они ютились в отдельных тесных келейках и селились вместе лишь для того, чтобы полнее чувствовать одиночество.

И отшельники и монахи жили в воздержании, вкушали пищу лишь после захода солнца, и единственным яством служил им хлеб со щепоткой соли да иссопа *. Некоторые из них уходили в глубь пустыни, превращая в келью какую-нибудь пещеру или могилу, и вели еще более диковинный образ жизни.

Все они соблюдали целомудрие, носили власяницу и куколь, после долгих бдений спали на голой земле, молились, пели псалмы — словом, каждодневно подвизались в покаянии. Памятуя о первородном грехе, они отказывали плоти не только в удовольствиях и утехах, но и в самом необходимом, по тогдашним понятиям, уходе. Они считали, что телесные немощи целительны для души и что нет для тела лучших украшений, чем язвы и раны. Так сбывалось слово пророков: «Пустыня оденется цветами».

Одни из обитателей святой Фиваиды проводили дни в умерщвлении плоти и созерцании, другие зарабатывали себе на хлеб насущный тем, что плели веревки из пальмового волокна или нанимались к соседним землевладельцам на время жатвы. Язычники несправедливо подозревали некоторых из них в том, что они живут разбоем и действуют заодно с кочевниками-арабами, которые грабят караваны. На самом же деле монахи презирали богатство, и благоухание их добродетели возносилось до самых небес.

Ангелы, похожие на юношей, навещали их под видом странников с посохом в руке, а демоны, приняв облик эфиопов или зверей, рыскали вокруг затворников, стараясь ввести их в соблазн. По утрам, когда монахи шли к колодцам за водой, они замечали на песке следы копыт сатиров и кентавров. С точки зрения духовной, истинной, Фиваида являла собою поле битвы,

где ежечасно, в особенности по ночам, шли таинственные сражения между небом и царством тьмы.

Подвергаясь яростным нападениям легионов нечистой силы, аскеты с помощью бога и ангелов защищались постом, покаянием и умерщвлением плоти. Иной раз жало плотских желаний язвило их так жестоко, что они выли от боли, и их стенания вторили мяуканью голодных гиен, которым оглашалась пустыня в звездные ночи. Тут-то бесы и являлись отшельникам под пленительными личинами. Ведь демоны, хоть они на самом деле и безобразны, иной раз облекаются призрачной красотой, и это мешает разглядеть их подлинную сущность. Фиваидские отшельники с ужасом видели в своих кельях картины таких наслаждений, каких не ведали даже тогдашние сладострастники. Но, охраняемые силой крестного знамения, они не поддавались искушению, и мерзкие духи, приняв свои истинные обличья, исчезали с зарею посрамленные и яростные. На рассвете не раз случалось людям встречать убегающего беса, который на расспросы отвечал, заливаясь слезами: «Я плачу и стенаю оттого, что один из здешних христиан высек меня розгами и изгнал с позором».

Власть старцев пустынножителей распространялась даже на грешников и неверующих. Их доброта порою обращалась в грозную силу. Они унаследовали от апостолов власть карать за обиды, нанесенные истинному богу, и уже ничто в мире не могло спасти тех, кто был ими осужден. По городам и даже в самой Александрии среди народа ходили страшные слухи о том, что стоило им только коснуться грешника посохом, как земля сама разверзалась под человеком и бездна поглощала его. Поэтому все распутники, а особенно мимы, плясуны,

женатые священники и куртизанки, очень боялись отшельников*.

Они обладали такой духовной силой, что их власти подчинялись даже хищные звери. Когда затворнику приходило время умереть, появлялся лев и когтями рыл ему могилу. Святой отец понимал по этому знаку, что создатель призывает его к себе, и обходил всех братьев, чтобы дать им прощальное лобзанье. Потом отшельник, радуясь в сердце своем, ложился, дабы почить во господе.

И вот с тех пор как Антоний*, в возрасте более ста лет, удалился с возлюбленными своими учениками Макарием и Амафасом на гору Кольцинскую, не было во всей Фиваиде монаха, который мог бы сравниться в усердии с Пафнутием, антинойским настоятелем. Правда, Ефрем и Серапион начальствовали над бо́льшим числом монахов и славились умением руководить духовными и житейскими делами возглавляемых ими монастырей. Зато Пафнутий строже соблюдал посты и иной раз по целых три дня не вкушал пищи. Он носил особенно грубую власяницу, утром и вечером бичевал себя и подолгу лежал, распростершись на земле.

Его двадцать четыре ученика построили себе хижины неподалеку от него и брали с него пример в подвижничестве. Он горячо любил их во Христе и беспрестанно призывал к покаянию. В числе его духовных чад насчитывалось несколько человек, которые долгие годы разбойничали, но были так глубоко тронуты увещеваниями святого настоятеля, что решили принять монашество. Праведность их жизни служила образцом для их собратий. Среди последних находился бывший повар абиссинской царицы; он тоже был обращен антинойским настоятелем и непрестанно оплакивал свои грехи; был тут и дьякон Флавиан, знаток Писания

и мастер говорить. Но самым замечательным из учеников Пафнутия был молодой крестьянин по имени Павел, прозванный Юродивым за крайнее простодушие. Люди смеялись над его простотой, а господь, благоволя к нему, ниспосылал ему видения и наделил даром пророчества.

Пафнутий много времени посвящал назиданию своих духовных чад и подвижничеству. Кроме того, он размышлял над священными книгами, ища смысла в их иносказаниях. Поэтому еще в молодых летах он отличался великими заслугами. Дьяволы, столь яростно осаждавшие добрых отшельников, не решались подступиться к нему. По ночам, когда на небе сияла луна, семь маленьких шакалов неотступно находились возле его кельи; они сидели на задних лапках молча, не шевелясь, навострив уши. Вероятно, то были семь демонов, которым он преградил к себе дорогу силою своей святости.

Пафнутий родился в Александрии от благородных родителей, которые дали ему языческое образование. Он даже поддался бредням поэтов, и в ранней юности заблуждения его ума и безрассудство дошли до того, что он верил, будто род человеческий пережил потоп во времена Девкалиона*, и дерзал рассуждать со сверстниками о природе, свойствах и даже о самом существовании бога. Он вел тогда, как то свойственно язычникам, разгульный образ жизни. Об этом времени он вспоминал теперь со стыдом и раскаянием.

— В те дни,— говорил он собратьям,— я кипел в котле ложных услад.

Он хотел сказать, что ел тогда искусно приготовленное мясо и посещал общественные бани. И действительно, до двадцатилетнего возраста он вел жизнь, обычную для того времени, ту жизнь, которую пристойнее было

бы назвать смертью. Но, восприняв поучения священника Макрина, он стал другим человеком.

Он до глубины души проникся истиной и обычно говорил, что она вонзилась в него как меч. Он уверовал в Голгофу и возлюбил распятого Христа. Приняв крещение, он еще год прожил среди язычников, в миру, с которым был связан привычкой. Но однажды, войдя в храм, он услышал слова Писания, прочтенные дьяконом: «Если хочешь быть праведным, поди и продай имущество свое и деньги раздай бедным». Он тотчас же продал все, что у него было, полученные деньги раздал неимущим и принял монашество.

Прошло уже десять лет с того дня, как он перестал кипеть в котле чувственных услад, и он с пользой умерщвлял свою плоть, умащивая ее бальзамом покаяния.

Однажды, по благочестивой привычке перебирая в памяти дни, прожитые в отчуждении от господа, он одно за другим мысленно оживлял свои прежние заблуждения, дабы глубже постигнуть всю их гнусность, и ему вспомнилось, что некогда он видел на александрийском театре лицедейку, отличавшуюся поразительной красотой, имя которой было Таис. Эта женщина выступала на сцене и не брезгала участвовать в танцах, искусно рассчитанные движения которых напоминали движения, сопутствующие самым мерзким страстям. А иной раз она изображала какое-нибудь постыдное действо из числа тех, что приписываются языческими сказаниями Венере, Леде или Пасифае *. Такими средствами она воспламеняла зрителей огнем своей похоти, а когда красивые юноши или богатые старцы, преисполненные страсти, приходили к ее дому и вешали над дверью гирлянды цветов, она благосклонно принимала почитателей и отдавалась им. Итак,

губя собственную душу, она губила и великое множество других душ.

Таис едва было не вовлекла в плотский грех и самого Пафнутия. Она зажгла в его жилах огонь желания, и однажды он уже подошел к ее дому. Но его на самом пороге остановила застенчивость, свойственная ранней юности (ему было тогда пятнадцать лет), а также опасение, как бы она не отвергла его из-за того, что у него нет денег (родители его следили за тем, чтобы он не мог много тратить). Эти два обстоятельства явились орудиями в руках господних, и по великому милосердию своему он уберег юношу от смертного греха. Но тогда Пафнутий отнюдь не был благодарен за это, ибо еще не разумел собственного блага и жажда ложных утех томила его. И вот, стоя у себя в келье на коленях перед святым крестом, на котором был распят Спаситель мира, Пафнутий стал думать о Таис, потому что Таис была его грехом, и долго, как положено правилами подвижничества, размышлял он над чудовищным безобразием плотских наслаждений, жажду которых в дни душевной смуты и неведения внушила ему эта женщина. После нескольких часов размышления образ Таис предстал перед ним в полной ясности. Он вновь увидел ее такою, какою видел в дни искушения, то есть прекрасною телесно. Сначала она явилась в виде Леды, томно раскинувшейся на ложе из драгоценного гиацинта, с запрокинутой головой, влажными глазами, в которых порою вспыхивали молнии, с трепещущими ноздрями, полуоткрытым ртом, цветущей грудью и руками, прохладными, как родники. При этом видении Пафнутий бил себя в грудь и говорил:

— Будь мне свидетель, господь, что я сознаю всю мерзость моего греха!

Между тем лицо Таис незаметно меняло выражение. Уголки ее рта постепенно опускались, и на губах обозначилась таинственная скорбь. Расширившиеся глаза блестели от слез; из стесненной груди вырывались стенания и вздохи, похожие на первые дуновения бури. Это смутило Пафнутия до глубины души. Он пал ниц и обратился к богу с молитвой:

— Господь, даровавший нашим сердцам сострадание, как утреннюю росу — пастбищам, господь правый и милосердный, будь благословен! Хвала тебе, хвала! Отринь от твоего служителя ложное мягкосердие, ведущее к соучастию в грехе, и окажи мне милость: да возлюблю твои создания не иначе как в тебе, ибо они преходящи, ты же бессмертен. Я жалею эту женщину только потому, что она создана тобою. Сами ангелы участливо склоняются над нею. Не твоих ли уст, господь, она дыхание? Не подобает ей творить грех со столькими согражданами и чужестранцами. Великая жалость к ней зародилась в моем сердце. Прегрешения ее отвратительны, и от одной мысли о них у меня волосы становятся дыбом и все тело мое вопиет. Но чем она грешнее, тем глубже должно быть мое сострадание. Я плачу при мысли о том, что дьяволы будут терзать ее до скончания веков.

Размышляя так, он вдруг заметил, что у ног его сидит маленький шакал. Это его крайне удивило, ибо дверь кельи была с самого утра затворена. Зверек словно читал в мыслях настоятеля и, как пес, повиливал хвостом. Пафнутий перекрестился: зверь сгинул. Уразумев по этому знаку, что дьяволу впервые удалось проникнуть в его жилище, он сотворил краткую молитву, потом снова стал размышлять о Таис.

«С божьей помощью я должен спасти ее»,—думал он.

И он заснул.

На другой день, помолившись, Пафнутий отправился к Палемону — благочестивому старцу, жившему отшельником неподалеку от него. Палемон, веселый и умиротворенный, трудился, как всегда, на огороде. Он был стар; он развел небольшой садик; дикие звери прибегали к нему и лизали ему руки, и бесы не тревожили его.

— Хвала господу, брат мой Пафнутий,— сказал он, опершись на заступ.

— Хвала господу! — ответил Пафнутий.— И мир да пребудет с тобою, брат мой.

— И с тобой да пребудет мир, брат Пафнутий,— продолжал отшельник и рукавом отер пот с лица.

— Брат Палемон, единственной целью наших бесед неизменно должно быть прославление того, кто обещал всегда присутствовать среди собравшихся во имя его. Поэтому-то я и пришел к тебе поделиться тем, что́ я замыслил совершить во славу господню.

— Да благословит господь твое намерение, Пафнутий, как он благословляет то, что́ я здесь посадил. Каждое утро благодать его вместе с росою нисходит на мой огород и по милосердию его я могу его восславить в огурцах и тыквах, которыми он благодетельствует меня. Будем молиться о том, чтобы он и впредь даровал нам мир. Ибо нет ничего пагубнее смятения, которое нарушает покой сердца. Когда смятение охватывает нас, мы уподобляемся хмельным и идем, шатаясь из стороны в сторону, готовые на каждом шагу позорно упасть. Иной раз такое неистовство приводит нас в бесшабашное веселье, и тогда тот, кто предается ему, оглашает воздух раскатистым скотским хохотом. Эта прискорбная веселость увлекает грешника во всякого рода распутство. Но случается и так, что смятение души и чувств погружает нас в нечести-

вое уныние, а оно еще в тысячу раз хуже веселья. Брат Пафнутий, я всего-навсего жалкий грешник, но за свою долгую жизнь я убедился, что нет у монаха злейшего врага, чем уныние. Я разумею под унынием ту необоримую тоску, которая, как туман, объемлет душу и заслоняет от нее господень свет. Ничто так не противно спасению, и велико бывает торжество дьявола, когда ему удается оплести сердце монаха острой и безысходной тоской. Если бы дьявол соблазнял нас только весельем и радостью, он был бы далеко не так страшен. Увы, он мастер ввергать нас в отчаяние. Нашему отцу Антонию он явил черного ребенка такой дивной красоты, что при взгляде на него глаза застилались слезами. С божьей помощью отец наш Антоний избежал дьявольских козней. Я знал его в те времена, когда он жил среди нас; находясь среди учеников, он всегда пребывал в радости и ни разу не впал в уныние. Но ведь ты, брат мой, пришел, чтобы поведать о том, что́ замыслил совершить? Ты окажешь мне честь, поделившись со мною, если только задуманное тобою послужит славе господней.

— Брат Палемон, я и в самом деле надеюсь прославить господа. Подкрепи меня советом, ибо ты умудрен и грех никогда не омрачал твоего рассудка.

— Брат Пафнутий, я не достоин развязать даже ремни твоих сандалий, и прегрешениям моим несть числа — как песчинкам в пустыне. Но я стар и не откажусь помочь тебе своей опытностью.

— Так вот, признаюсь тебе, брат Палемон, что я глубоко скорблю при мысли, что в Александрии есть куртизанка по имени Таис, которая живет в грехе и служит для людей соблазном.

— Брат Пафнутий, это и впрямь мерзость, и о ней надлежит скорбеть. Среди язычников есть немало жен-

щин, которые ведут себя вроде этой. А ты придумал какое-нибудь средство против сего великого зла?

— Брат Палемон, эту женщину я знавал в Александрии, и с божьей помощью я обращу ее. Таково мое намерение; одобряешь ли его, брат мой?

— Брат Пафнутий, я всего лишь жалкий грешник, но отец Антоний не раз говорил: «Где бы ты ни был — не торопись покидать это место ради другого».

— Брат Палемон, ты видишь что-то дурное в том, что́ я задумал?

— Добрый Пафнутий, сохрани меня бог подозревать дурное в намерениях моего брата! Но отец наш Антоний говорил также: «Рыба, выброшенная на песок, умирает; подобно этому и монах, выйдя из кельи и смешавшись с толпой мирян, отклоняется от истины».

С этими словами старик Палемон нажал ногою на лопату и стал усердно окапывать молодую яблоньку. Пока он копал, в сад через живую изгородь, не помяв листвы, стремительно прыгнула антилопа; она остановилась удивленная, встревоженная, трепещущая, потом в два прыжка приблизилась к своему старому другу и прильнула головкой к его груди.

— Да будет благословен бог в газели-пустынножительнице! — сказал Палемон.

И он ушел в хижину за куском черного хлеба, а возвратясь, подал его на ладони быстроногому животному.

Пафнутий стоял некоторое время в раздумье, уставившись на придорожные камни. Потом он не спеша направился к своей келье, размышляя о том, что только что слышал. Ум его напряженно работал.

«Старец Палемон,— думал он,— мудрый советчик; ему присуща осторожность. И вот он сомневается в разумности моего намерения. Между тем я чувствую,

что было бы жестоко дольше оставлять эту женщину во власти дьявола. Да просветит меня господь и да укажет мне праведную стезю!»

По дороге Пафнутий заметил ржанку, которая попалась в тенета, расставленные на песке охотником; он понял, что это самочка, ибо самец прилетел к сети и стал клювом одну за другой рвать петли, пока, наконец, в тенетах не образовалось отверстие, через которое и вырвалась его подруга. Божий человек дивился этому зрелищу, а так как в силу своей святости он легко постигал тайный смысл сущего, то понял, что попавшаяся в плен птичка — это Таис, опутанная сетями разврата, и что подобно тому, как самец ржанки клювом перекусил конопляные нити, он сам при помощи суровых увещаний должен разорвать невидимые узы, держащие Таис в лоне греха. Поэтому он воздал хвалу господу и утвердился в своем первоначальном намерении. Но, увидев затем, что самец сам попался лапками в сеть, которую только что порвал, Пафнутий снова впал в сомнение.

Он не смыкал глаз всю ночь, а на заре ему было видение. Ему снова явилась Таис. Лицо ее не выражало греховного сладострастия, и на ней не было, как обычно, прозрачной одежды. Всю ее, и даже часть лица, окутывал саван, так что отшельник видел только ее глаза, и из них лились прозрачные тяжелые слезы.

При виде ее слез Пафнутий сам заплакал и, решив, что видение послано ему богом, перестал сомневаться. Он встал, взял суковатый посох — образ христианской веры — и вышел из хижины, тщательно затворив за собою дверь, дабы звери, обитатели песков, и птицы, парящие в воздухе, не забрались в келью и не осквернили книгу Писания, которую он хранил у своего изголовья; потом он призвал дьякона Флавиана, пору-

чнл ему руководить двадцатью тремя учеииками и, облачившнсь в одиу лншь длииную власяницу, пустнлся в путь; ои пошел вдоль Нила, иамереваясь идти пешком по лнвийскому берегу в город, основаииый македонцем*. С самой зарн шел он по песку, презнрая усталость, голод и жажду; солнце уже склоинлось к горизоиту, когда он увндел грозную реку, катившую свон кровавые воды средн скал, сверкавших огнем н золотом. Он шел по высокому берегу реки, просил у порога редко встречавшихся хижнн кусок хлеба во нмя божие и со смиреииой радостью прииимал отказ, брань и угрозы. Ои ие страшнлся ин разбойииков, ни хищных зверей, зато тщательио избегал городов н селеинй, попадавшихся ему иа путн. Ои боялся повстречать ребятишек, нграющнх в бабки возле отчего дома, или увидеть у колодца жеищин в голубых рубахах, улыбающнхся, с кувшнном в руках. Все тант опасиость для отшельиика: иной раз ему опасио даже чнтать в Писанни о том, что божественный учитель ходнл нз города в город и саднлся вместе с учениками за трапезу. Узоры, которыми подвнжиики расшивают ткань веры, столь же великолепиы, сколь н иежиы: достаточно легкого мнрского дуиовеиня — и прелестиый узор тускиеет. Поэтому-то Пафиутий и избегал городов; ои опасался, как бы при внде людей сердце его не размягчилось.

Итак, шел ои безлюдиыми дорогами. Когда иаступал вечер и тамариилы под лаской ветерка прииимались шелестеть, Пафнутнй содрогался н спускал куколь до самых глаз, чтобы ие видеть красоты окружающего мира. На седьмой деиь ои прншел в местность, именуемую Снльсилис. Река течет тут в тесной долние, обрамлеиной двоииой цепью граннтиых гор. Именно здесь высекалн егнптяие своих идолов в те времеиа,

когда они поклонялись демонам. Пафнутий увидел огромную голову Сфинкса, еще не отделенную от утеса. Опасаясь, не таится ли в ней дьявольская сила, он перекрестился и прошептал имя Христа; в тот же миг из уха чудовища вылетела летучая мышь, и Пафнутий понял, что изгнал злого духа, пребывавшего в этом изваянии многие века. Рвение его разгорелось; он поднял с земли большой камень и швырнул его в лицо идола. Тогда на таинственном лике Сфинкса появилось столь грустное выражение, что Пафнутий растрогался. Поистине, сверхчеловеческая скорбь, обозначившаяся на этом каменном челе, тронула бы даже самого бесчувственного человека. И Пафнутий сказал Сфинксу:

— Зверь! По примеру сатиров и кентавров, которых видел в пустыне отец наш Антоний, восславь божественность Иисуса Христа! И я благословлю тебя во имя отца, и сына, и святого духа.

Он сказал — и розовый отсвет блеснул в глазах Сфинкса; тяжелые веки чудовища дрогнули и гранитные губы с трудом, словно эхо, произнесли святое имя Христа. А Пафнутий, простерши правую руку, благословил сильсилисского Сфинкса.

Затем он снова пустился в путь; долина постепенно расширилась, и он увидел развалины огромного города. Еще не рухнувшие храмы поддерживались идолами в виде колонн, и по попустительству божьему женские головы с коровьими рогами устремляли на Пафнутия пристальный взгляд, повергавший его в ужас. Так шел он семнадцать дней, питаясь травами, а ночи проводил в разрушенных дворцах, среди диких кошек и фараоновых крыс, к которым иной раз присоединялись женщины с туловищами, переходившими в чешуйчатый рыбий хвост.

На восемнадцатый день Пафнутий заметил в отдалении от села убогую хижину, сплетенную из пальмовых листьев и полузасыпанную песком, занесенным ветром из пустыни; Пафнутий подошел к хижине в надежде, что она служит приютом какому-нибудь благочестивому отшельнику. Двери в ней не было, и он увидел внутри хижины кувшин, кучку луковиц и ложе из сухих листьев.

«Это — скромное жилье подвижника, — подумал он.— Затворники далеко не уходят от кельи. Хозяина этой хижины найти недолго. Я хочу дать ему поцелуй мира по примеру святого отшельника Антония, который, придя к пустынножителю Павлу, трижды облобызал его. Мы побеседуем о вещах непреходящих, и, быть может, господь пошлет к нам ворона с хлебом, и хозяин радушно предложит мне преломить его вместе с ним».

Рассуждая так с самим собою, Пафнутий бродил вокруг хижины в надежде повстречать кого-нибудь. Пройдя шагов сто, он увидел человека, который, поджав ноги, сидел на берегу Нила. Человек этот был нагой, волосы его и борода были совершенно белые, а тело — краснее кирпича. Пафнутий не сомневался, что это отшельник. Он приветствовал его словами, которыми при встрече обычно обмениваются монахи:

— Мир тебе, брат мой! Да будет дано тебе вкусить райское блаженство!

Человек не отвечал. Он сидел все так же неподвижно и, видимо, не слыхал обращенных к нему слов. Пафнутий подумал, что молчание это — следствие восторга, который нередко охватывает святых. Он стал возле незнакомца на колени, сложил руки и простоял так, молясь, до захода солнца. Тогда Пафнутий, видя, что его собрат не тронулся с места, сказал ему:

— Отче, если прошло умиление, в которое ты был погружен, благослови меня именем господа нашего Иисуса Христа.

Тот отвечал, не оборачиваясь:

— Чужестранец, я не понимаю, о чем ты говоришь, и не знаю никакого господа Иисуса Христа.

— Как! — вскричал Пафнутий.— Его пришествие предрекли пророки; сонмы мучеников прославили его имя; сам Цезарь поклонялся ему*, и вот только что я повелел сильсилисскому Сфинксу воздать ему хвалу. А ты не ведаешь его,— да возможно ли это?

— Друг мой,— отвечал тот,— это вполне возможно. Это было бы даже несомненно, если бы в мире вообще существовало что-нибудь несомненное.

Пафнутий был изумлен и опечален невероятным невежеством этого человека.

— Если ты не знаешь Иисуса Христа,— сказал он,— все, что ты делаешь, бесполезно, и тебе не удостоиться вечного блаженства.

Старик возразил:

— Тщетно действовать и тщетно воздерживаться от действий. Безразлично — жить или умереть.

— Как? Ты не жаждешь вечного блаженства? — спросил Пафнутий.— Но скажи мне, ведь ты живешь в пустыне, в хижине, как и другие отшельники?

— По-видимому.

— Ты живешь нагой, отказавшись от всего?

— По-видимому.

— Питаешься кореньями и блюдешь целомудрие?

— По-видимому.

— Ты отрекся от мирской суеты?

— Я действительно отрекся от всякой тщеты, которая обычно волнует людей.

— Значит, ты, как н я, бедеи, целомудрен н одииок. И ты стал таким не радн любви к богу и ие ради иадежды иа иебесиое блажеиство? Это мие иепоиятно. Почему же ты добродетелен, если не веруешь во Христа? Зачем же ты отрекаешься от земных благ, раз не иадеешься иа блага вечные?

— Чужестраиец, я ии от чего ие отрекаюсь н рад тому, что иашел более или меиее сносиый образ жнзни, хотя, строго говоря, ие существует ии хорошего, ин дуриого образа жнзин. Ннчто само по себе ии похвальио, ни постыдио, ии справедливо, ии иесправедлнво, ии приятно, ин тягостио, ии хорошо, нн плохо. Только людское мнеине придает явлениям этн качества, подобно тому как соль придает вкус пнще.

— Зиачнт, по-твоему, ин в чем иельзя быть увереиным? Ты отрицаешь нстину, которую искалн даже язычникн. Ты коснеешь в своем иевежестве подобио усталому псу, который спит в грязн.

— Чужестраиец, равио безрассудио хулнть и псов н фнлософов. Нам иеведомо, что такое собаки н что такое мы сами. Нам ннчто не ведомо.

— О старец, зиачит ты прннадлежишь к нелепой секте скептиков? Ты из чнсла тех жалкнх безумцев, которые равио отрнцают и двнжеине н покой н не умеют отлнчить солнечиого света от иочиой тьмы?

— Да, мой друг, я действительио скептик и прииадлежу к секте, которая кажется мне достойной похвалы, в то время как ты иаходншь ее нелепой. Ведь одии и те же вещи предстают перед иамн в разиых облнках. Мемфисские пнрамиды иа заре кажутся треугольинками, проинзаниымн розовым светом. В час заката, вырнсовываясь иа огиенном иебе, оии становятся чериымн. Но кто проникнет в их истиииую сущиость? Ты упрекаешь меия в том, что я отрицаю видн-

мое, в то время как я, наоборот, только видимое и признаю. Солнце представляется мне лучезарным, но природа его мне неизвестна. Я чувствую, что огонь жжет, но не знаю, ни почему, ни как это происходит. Друг мой, ты меня не разумеешь. Впрочем, совершенно безразлично, понимают ли тебя так или иначе.

— Опять-таки спрашиваю: зачем бежал ты в пустыню и питаешься одними финиками и луком? Зачем терпишь ты великие лишения? Я тоже терплю лишения и тоже живу отшельником, соблюдая воздержание. Но я делаю это для того, чтобы угодить богу и удостоиться вечного блаженства. А это разумная цель, ибо мудро терпеть муки в предвидении великих благ. И, наоборот, безрассудно по собственной воле возлагать на себя бесполезное бремя и терпеть ненужные страдания. Если бы я не веровал,— прости мне эту хулу, о свет предвечный,— если бы я не веровал в то, что бог возвестил нам устами пророков, примером сына своего, деяниями апостолов, решениями святых соборов и свидетельством мучеников, если бы я не знал, что телесные недуги необходимы для исцеления души, если бы я подобно тебе пребывал в неведении святых таинств,— я тотчас же вернулся бы в мир, я старался бы разбогатеть, чтобы жить в неге, как живут счастливцы мира сего, и я сказал бы страстям: «Ко мне, девушки, ко мне, мои служанки, опьяните меня вашим вином, вашими чарами и благовониями!» А ты, неразумный старец, ты лишаешь себя какой-либо выгоды; ты расточаешь, не ожидая прибыли, ты отдаешь, не надеясь на возмещение, и бессмысленно подражаешь подвигам наших пустынников, подобно тому как наглая обезьяна, пачкая стену, воображает, будто она срисовывает картину искусного живописца. О глупейший из людей, скажи, каковы же твои доводы?

Пафнутий говорил крайне резко. Но старик был невозмутим.

— Друг мой,— ответил он кротко,— к чему тебе доводы зловредной обезьяны и пса, спящего на нечистотах?

Пафнутий всегда руководился только тем, что̀ может послужить вящей славе господней. Гнев его сразу стих, и он, склонив голову, попросил прощения.

— Прости меня, старец, брат мой, если из-за усердия в защите истины я преступил должные границы,— сказал он.— Бог мне свидетель, что только заблуждением твоим, а не самим тобою вызван мой гнев. Мне тягостно видеть, что ты пребываешь во тьме неведения, ибо я люблю тебя во Христе и сердце мое полнится заботой о твоем спасении. Говори, изложи мне свои доводы: мне не терпится узнать их, дабы их опровергнуть.

Старик спокойно отвечал:

— Я равно готов и говорить и безмолвствовать. Поэтому я изложу тебе свои доводы, но у тебя доводов просить не стану, потому что мне нет до тебя ни малейшего дела. Мне безразлично, счастлив ли ты, или несчастлив; и мне все равно, так ли ты думаешь, или иначе. Да и как мне любить тебя или ненавидеть? Отвращение и сочувствие одинаково недостойны мудреца. Но раз уж ты спрашиваешь, знай, что имя мое Тимокл и что родился я на Ко̀се от людей, разбогатевших на торговле. Мой отец снаряжал корабли. По уму своему он весьма походил на Александра, прозванного Великим,— только нравом был поживее. Словом, то был человек со всеми слабостями, присущими людям. У меня было два брата, которые последовали по его стопам и стали судовладельцами. Я же избрал стезю мудрости. Старшего брата отец принудил жениться на

кариенской женщине по имени Тимесса, но брату она была до того несносна, что, живя с ней, он впал в безысходную тоску. Зато наш младший брат воспылал к ней преступной любовью, и это чувство вскоре перешло в неступленную страсть. Кариенке же оба внушали одинаковое отвращение. Она была влюблена в некоего флейтиста и по ночам принимала его у себя. Однажды утром он забыл у нее венок, который обычно носил на пирах. Мои братья, найдя этот венок, решили убить флейтиста и на другой же день, как он ни умолял их и как ни рыдал, засекли его до смерти. Невестка пришла в такое отчаяние, что разум ее помутился, и вот три безумца, уподобившись скотине, стали бродить по берегам Коса, выли, как волки, с пеной на губах, вперив глаза в землю, а мальчишки гурьбой бегали за ними и швыряли в них раковинами. Наконец несчастные умерли, и отец собственными руками похоронил их. Немного спустя нутро его перестало принимать какую-либо пищу, и он умер от голода, хотя был до того богат, что мог бы скупить все мясо и все плоды на всех азиатских базарах. Он очень досадовал, что состояние достается мне. А я употребил его на путешествия. Я побывал в Италии, Греции и Африке, но нигде не встретил ни одного мудреца и ни одного счастливого человека. Я изучал философию в Афинах и Александрии и был совсем оглушен шумными спорами. Наконец, добравшись до Индии, я увидел на берегу Ганга нагого человека, который уже тридцать лет неподвижно сидел на месте, поджав под себя ноги. Вокруг его тела вились лианы, в волосах птицы свили гнездо. И все же он жил. При виде его мне вспомнилась Тимесса, флейтист, отец и мои два брата, и я понял, что этот индус — мудрец. «Люди, — решил я, — страдают потому, что лишены чего-то, что́ они считают благом, или потому,

что, обладая им, боятся его лишиться, или потому, что терпят нечто, кажущееся им злом. Упраздните такое убеждение, и все страдания рассеются». Поэтому я и решил ничто не почитать благом, отрешиться от всех соблазнов и жить в одиночестве и неподвижности по примеру того индуса.

Пафнутий внимательно выслушал рассказ старика.

— Тимокл Косский,— отвечал он,— признаю, что многое в твоих рассуждениях не лишено смысла. Действительно, мудро презирать земные блага. Однако неразумно презирать также и блага вечные и навлекать на себя гнев божий. Мне жаль, Тимокл, что ты коснеешь в невежестве, и я преподам тебе истину, чтобы ты, узнав, что есть триипостасный бог, покорился его воле, как ребенок покоряется отцу.

Но Тимокл прервал его:

— Воздержись, чужестранец, от изложения своих верований и не рассчитывай, что тебе удастся внушить мне желание разделить твои чувства. Всякий спор бесплоден. Мое мнение состоит в том, что не следует иметь никакого мнения. Я живу, не ведая тревог, потому что не предпочитаю что-либо одно другому. Ступай своей дорогой и не пытайся вывести меня из блаженного безразличия, в коем я пребываю как в освежающей ванне после тяжкого жизненного труда.

Пафнутий был весьма сведущ в делах веры. Он хорошо знал человеческое сердце и поэтому понял, что на старца Тимокла еще не простерлась благодать божья и что для этой души, упорствующей в своей погибели, день спасения еще не настал. Он ничего не ответил, боясь, как бы назидание не обернулось соблазном. Ибо иной раз случается, что, оспаривая нечестивцев, не только не обращаешь их к истине, а, наоборот, ввергаешь в новый грех. Поэтому тот, кто

обладает истиной, должен благовестить о ней осторожно.

— Что ж, прощай, несчастный Тимокл,— сказал Пафнутий.

И, тяжко вздохнув, он, невзирая на ночь, снова пустился в благочестивое странствие.

Утром он увидел ибисов, неподвижно стоявших на одной ноге у воды, в которой отражались их бледно-розовые шеи. Подальше с высокого берега склонялась нежная серая листва ив; в ясном воздухе треугольником летели журавли, а из кустов доносился крик невидимых цапель. Великая река несла к горизонту свои широкие зеленые воды, по которым, словно крылья птиц, скользили паруса; у берегов там и сям отражались в воде белые домики, вдали над рекой подымался легкий туман, а с тенистых островков, обремененных пальмами, цветами и плодовыми деревьями, взлетали шумные стаи уток, гусей, фламинго и чирков. Слева по тучной равнине, раскинувшейся до самого горизонта, тянулись поля и весело шелестящие сады, солнце золотило колосья, и плодородная земля исходила душистой пыльцой. При виде всего этого Пафнутий пал на колени и воскликнул:

— Да будет благословен господь, подвигнувший меня пуститься в путь! Боже, кропящий росой арсинонтидские смоковницы, ниспошли благодать свою на душу Таис, которую ты создал так же любовно, как полевые цветы и деревья садов. Пусть цветет она моим тщанием, как благоуханная роза в твоем горнем Иерусалиме.

И всякий раз, когда он видел цветущее дерево или пеструю птичку, он думал о Таис. Так, идя вдоль левого русла реки по плодородным и многолюдным долинам, он через несколько дней достиг Александрии —

города, который греки прозвали прекрасным и золотым. Прошел уже час после восхода солнца, когда Пафнутий с холма увидел кровли большого города, сверкавшие в розоватой дымке. Он остановился и, скрестив на груди руки, сказал про себя:

«Так вот оно, сладостное место, где я был рожден во грехе, вот золотистый воздух, вместе с которым я вдыхал пагубные благоухания, вот сладострастное море, возле которого я внимал пению сирен. Вот колыбель моя по плоти, вот мирская моя отчизна! Цветущая колыбель, прославленная отчизна — как судят о ней люди. Чадам твоим, Александрия, положено любить тебя, как мать, а я ведь тоже был зачат в твоем великолепно украшенном лоне. Но аскет презирает природу, мистик пренебрегает видимостью, христианин почитает свою земную родину местом изгнания, монах вырывается из оков суеты. Я отвратил от тебя свое сердце, Александрия. Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя за твое богатство, за твою просвещенность, за твою изнеженность, за твою красоту. Будь проклят, храм адских сил! Мерзкое ложе язычников, зачумленный престол ариан * — будь проклят! А ты, крылатый сын неба, указывавший путь святому отшельнику, отцу нашему Антонию, когда он, идя из недр пустыни, проник в эту твердыню язычества, дабы укрепить веру исповедников христианства и непреклонность мучеников,— дивный ангел господень, незримое дитя, дуновение божье, лети предо мною и взмахами крыл разлей благоухание в смердящем воздухе, которым мне предстоит дышать среди мирских князей тьмы!»

Так сказал он и снова пустился в путь. Он вошел в город через Солнечные ворота. Они были сложены из камня и гордо вздымались ввысь. А сидевшие

в их тени нищие предлагали прохожим лимоны и винные ягоды или, жалобно причитая, вымаливали подаяние.

Старуха в рубище, стоявшая на коленях, взялась за власяницу монаха и, приложившись к ней, сказала:

— Человек божий, благослови меня, чтобы и бог меня благословил. Я много выстрадала в этой жизни, и мне хочется побольше радости в жизни будущей. Святой отче, ты посланец божий, и потому пыль на твоих ногах драгоценнее золота.

— Хвала господу,— отвечал Пафнутий.

И он осенил голову женщины знаком искупления.

Но не успел он пройти по улице и двадцати шагов, как ватага ребятишек стала улюлюкать и швырять в него камнями.

— Поганый монах! Он грязнее обезьяны и бородат, как козел. Он бездельник! Поставить бы его в огороде вместо деревянного Приапа *, чтобы отпугивать птиц. Да нет, он, чего доброго, нашлет град и погубит цветущий миндаль. Он приносит несчастье. Лучше распять его! Распять монаха!

Крики усиливались, в пришельца летели камни.

— Благослови, боже, неразумных отроков,— прошептал Пафнутий.

И он шел своей дорогой и думал:

«Я внушаю уважение старухе и презрение детям. Так одно и то же по-разному расценивается людьми; они не тверды в своих суждениях и склонны заблуждаться. Старец Тимокл, надо признать, хоть и язычник, а все же не лишен здравого смысла. Он слеп, но он знает, что свет ему недоступен. Он куда рассудительнее тех идолопоклонников, которые, пребывая в глубокой тьме, кричат: «Я вижу свет!» Все в этом

мире призрачно, все подобно сыпучим пескам. Один бог незыблем».

И он быстрым шагом шел по городу. Целых десять лет он не был здесь и все же узнавал каждый камень, и каждый камень был камнем позора, напоминавшим ему о грехе. Поэтому странник сильно ударял ногами по плитам широких мостовых и радовался тому, что его израненные подошвы оставляют на них кровавые следы. Миновав великолепные портики храма Сераписа *, он направился по дороге, вдоль которой раскинулись богатые дома, как бы дремлющие среди нежных благоуханий. Тут над красивыми карнизами и золотыми акротериями * вздымались вершины сосен, кленов, терпентинновых деревьев. Через приотворенные двери в мраморных вестибюлях виднелись бронзовые статуи и водометы, окруженные листвой. Ни единый звук не нарушал тишины этих прекрасных жилищ. Только издали доносились звуки флейты. Монах остановился у дома, небольшого по размерам, но благородных пропорций, с колоннами, стройными, как девушки. Дом был украшен бронзовыми бюстами знаменитых греческих философов.

Пафнутий узнал среди них Платона, Сократа, Аристотеля и Зенона. Постучав в дверь молоточком, он стал ждать и подумал: «Тщетно прославлять в бронзе этих мнимых мудрецов. Их ложь опровергнута; души их низринуты в ад, и сам пресловутый Платон, который некогда разглагольствовал на весь мир, теперь препирается только с бесами».

Дверь отворилась; раб, увидев перед собою человека, стоявшего босиком на мозаичном пороге, сказал ему резко:

— Ступай попрошайничать подальше, мерзкий монах, убирайся, пока я не прогнал тебя палкой.

— Брат мой,— отвечал антинойский настоятель,— я ничего не прошу у тебя, только проводи меня к твоему господину.

Раб ответил еще резче:

— Мой господин не принимает таких псов, как ты.

— Сын мой,— возразил Пафнутий,— исполни, пожалуйста, мою просьбу и скажи хозяину, что я хочу с ним переговорить.

— Вон отсюда, подлый попрошайка! — вскричал взбешенный привратник.

И он замахнулся на праведника палкой, а тот, скрестив на груди руки, спокойно принял удар прямо по лицу и кротко повторил:

— Исполни то, о чем я сказал, сын мой, прошу тебя.

Тогда привратник в трепете прошептал:

— Что это за человек, раз он не страшится боли?

И он побежал к хозяину.

Никий выходил из ванны. Красавицы рабыни водили по его телу скребками. Это был любезный, приветливый человек. Лицо его светилось мягкой усмешкой. При виде монаха он встал и пошел ему навстречу с распростертыми объятиями.

— Это ты, Пафнутий, мой товарищ, мой друг, брат мой! — воскликнул он.— Да, узнаю тебя, хотя, по правде говоря, ты довел себя до того, что стал больше похож на скотину, чем на человека. Обними меня! Помнишь, как мы с тобой изучали грамматику, риторику и философию? Уже тогда все считали, что у тебя мрачный, нелюдимый нрав, но я любил тебя за то, что ты был совершенно искренен. Мы говорили, что ты смотришь на мир глазами дикого коня, и поэтому не удивительно, что ты так мрачен. В тебе чуточку недоставало аттического изящества, зато щедрости твоей не было границ. Ты не дорожил ни богатством,

ни собственной жизнью. И был в тебе какой-то странный дух, какая-то диковинная сущность, которая несказанно привлекала меня. Добро пожаловать, любезный мой Пафнутий, после десятилетнего отсутствия! Ты ушел из пустыни! Ты отрекаешься от христианских суеверий и возрождаешься к прежней жизни! Этот день я отмечу белым камушком... Кробила и Миртала,— добавил он, обращаясь к женщинам,— умастите благовониями ноги, руки и бороду моего дорогого гостя.

Рабыни несли уже, улыбаясь, скребок, скляники и металлическое зеркало. Однако Пафнутий властным движением остановил рабынь и потупился, чтобы не видеть их. Ибо они были нагие. А Никий пододвинул к гостю подушки и предложил ему разные яства и напитки, но Пафнутий с презрением отказался от них.

— Никий,— сказал он,— я не отрекся от того, что ты ошибочно называешь христианским суеверием и что есть истина истин. Вначале было слово, и слово было у бога, и слово было бог. Все чрез него начало быть, и без него ничего не начало быть... В нем была жизнь, а жизнь была свет человеков.

— Уж не думаешь ли ты, любезный Пафнутий,— отвечал Никий, успевший облачиться в надушенную тунику,— поразить меня, твердя слова, неумело подобранные и представляющие собою бессмысленный лепет? Ты, верно, забыл, что я сам до некоторой степени философ. И неужели ты воображаешь, что я удовлетворюсь какими-то лоскутами, которые невежды выдрали из пурпурной мантии Амелия, когда даже сам Амелий, Порфирий и Плотин * во всей славе своей не удовлетворяют меня? Все построения мудрецов не что иное, как сказки, придуманные для забавы людей, вечных младенцев. Этим вздором позволительно

только развлекаться, как историей об Осле, Бочке, Матроне Эфесской* или любой другой милетской сказкой.

И, взяв гостя под руку, Никий повел его в зал, где в корзинах хранились тысячи папирусов, свернутых трубками.

— Вот моя библиотека,— сказал он,— здесь лишь ничтожная часть систем, построенных философами с целью объяснить мир. Но даже в Серапее, при всем его богатстве, они представлены далеко не полно. Увы, все это не более чем бредни больных людей.

Он усадил отшельника в кресло из слоновой кости и сел сам. Пафнутий обвел свитки мрачным взглядом, потом сказал:

— Все это надо сжечь.

— Жалко, милый гость! — возразил Никий. — Ведь мечты больных иной раз очень забавны. Кроме того, если изничтожить все людские мечты и бредни, мир утратит свои очертания и краски, и мы закоснеем в беспросветной тупости.

Пафнутий продолжил занимавшую его мысль:

— Не подлежит сомнению, что все языческие системы — пустой обман. Но бог, который есть истина, явил себя людям в чудесах. И он стал плотью и жил среди нас.

Никий возразил:

— Ты прав, любезный и мудрый Пафнутий, когда утверждаешь, что он стал плотью. Бог размышляющий, действующий, говорящий, странствующий по земле, как античный Улисс по синим морям,— такой бог и впрямь человек. Как можешь ты веровать в этого нового Юпитера, когда в прежнего еще во времена Перикла уже не веровали даже афинские мальчишки? Но оставим это. Ты пришел, наверное, не для

того, чтобы спорить со мной о триединстве? Чем я могу услужить тебе, любезный друг?

— Я прошу у тебя самой простой услуги,— отвечал антинойский настоятель.— Одолжи мне надушенную тунику вроде той, какую ты сейчас надел. И сделай милость, прибавь к ней золоченые сандалии и скляночку с маслом, чтобы умастить голову и бороду. Хорошо бы, если бы ты дал мне, кроме того, мошну с тысячью драхм. Вот, Никий, за чем я пришел к тебе и о чем прошу во имя божье и в память нашей давней дружбы.

Никий велел Кробиле и Миртале принести самую роскошную тунику; она была расшита в восточном вкусе — цветами и животными. Женщины держали ее развернутой в ожидании, когда Пафнутий снимет с себя власяницу, покрывавшую его с головы до ног; при этом они искусно колыхали наряд, чтобы играли все переливы его ярких красок. Но пришелец сказал, что скорее позволит содрать с себя кожу, чем власяницу; поэтому женщины надели на него тунику поверх монашеского платья. Женщины были красивые и, зная это, не боялись мужчин, хотя и были рабынями. Они стали смеяться, заметив, какой странный вид придал монаху этот наряд. Кробила подала ему зеркало, назвав его «мой дорогой сатрап», а Миртала дернула его за бороду. Но Пафнутий молился господу и не замечал их. Он обул золоченые сандалии, подвязал к поясу мошну и сказал Никию, который с улыбкой наблюдал за ним:

— Никий, пусть все это в твоих глазах не будет соблазном. Не сомневайся, что тунику, и сандалии, и мошну я употреблю на благочестивое дело.

— Я никогда никого не подозреваю в дурном, дражайший Пафнутий,— ответил Никий,— ибо считаю,

что люди одинаково не способны творить ни зло, ни добро. Добро и зло существуют только в наших суждениях. Мудреца побуждают к действию лишь обычай и привычка. Я всегда сообразуюсь с предрассудками, господствующими в Александрии. Поэтому-то я и слыву порядочным человеком. Ступай, друг мой, и веселись.

Но Пафнутий подумал, что лучше сказать ему о своих намерениях.

— Ты знаешь,— спросил он,— Таис, которая выступает на театре?

— Она красавица, — ответил Никий, — и было время, когда я любил ее. Ради нее я продал мельницу и две пашни и сочинил в ее честь три книги элегий; я старался подражать сладостным песням, в которых Корнелий Галл воспевал Ликорис*. Увы! Галл пел в золотой век, и ему покровительствовали авзонские музы. Я же, рожденный в век варварский, начертал свои гекзаметры и пентаметры нильским тростником. Стихи, созданные в наше время, да еще в этой стране, обречены на забвение. Конечно, нет в мире ничего могущественнее красоты, и если бы мы могли владеть ею вечно, нам мало было бы дела до демиурга, логоса, эонов и прочих выдумок философов. Но я в восторге, славный Пафнутий, что ты пришел из недр Фиваиды только для того, чтобы поговорить со мной о Таис.

И Никий слегка вздохнул. А Пафнутий с ужасом и отвращением смотрел на него, не понимая, как может человек так спокойно признаваться в столь тяжком грехе. Он ждал, что вот-вот земля расступится под Никием и пылающая бездна поглотит его. Однако земля не дрогнула, и александриец молча, закрыв лицо рукой, с грустью улыбался видениям минувшей юности. Монах встал и суровым голосом произнес:

— Знай же, Никий, что с божьей помощью я отрешу Таис от мерзкой земной любви, и она назовется Христовой невестой. Если дух святой не оставит меня, Таис нынче же покинет город и поступит в монастырь.

— Берегись, не оскорбляй Венеру, — возразил Никий, — это могущественная богиня. Если ты похитишь у нее самую прославленную ее служанку, она разгневается на тебя.

— Господь мне защитой, — сказал монах. — Да просветит он твое сердце, Никий, и да извлечет тебя из бездны, в которой ты пребываешь.

И он направился к двери. А Никий проводил его до порога и, положив ему на плечо руку, шепотом повторил:

— Берегись, не оскорбляй Венеру: месть ее бывает ужасна.

Пафнутий пренебрег столь пустыми речами и вышел, не обернувшись. Слова Никия вызвали в нем одно лишь презрение, зато мысль о том, что его друг некогда познал ласки Таис, была ему нестерпима. Ему казалось, что грешить с этой женщиной еще предосудительнее, чем со всякой другой. Он видел в этом какое-то особенное коварство, и Никий стал ему отвратителен. Он всегда ненавидел непотребство, но еще никогда этот порок не представлялся ему до такой степени омерзительным, никогда еще ему не были так понятны гнев Иисуса Христа и печаль ангелов.

От этого еще пламеннее разгоралось в нем желание вырвать Таис из среды язычников, и ему не терпелось поскорее увидеть лицедейку, дабы спасти ее. Однако отправиться к этой женщине можно было лишь после того, как спадет полуденный зной. А было еще только утро, и Пафнутий в ожидании побрел по людным

улицам. Он решил не принимать в этот день никакой пищи, чтобы быть достойнее тех милостей, которых просил у господа. К великому своему сожалению, он не решался войти ни в один из городских храмов, потому что знал, что все они осквернены арианами, повергшими престол божий во прах. Действительно, еретики при поддержке восточного императора прогнали патриарха Афанасия с его пастырской кафедры и посеяли среди александрийских христиан смуту и замешательство.

Поэтому он шел куда глаза глядят, то потупившись из скромности в землю, то обращая взор к небесам, словно в экстазе. Побродив некоторое время, он оказался на одной из городских набережных. В искусственной гавани стояли на якоре бесчисленные корабли с темными бортами, а вдали, сверкая серебром и лазурью, раскинулось коварное море. Одна из галер со статуей Нереиды на носу * снялась с якоря; гребцы взмахивали веслами и пели; белая дева вод, покрытая жемчужинами влаги, быстро удалялась, и монах видел уже только ее ускользающий силуэт; послушная кормчему, она миновала узкий проход, ведущий в гавань Эвноста, и вышла в открытое море, оставляя за собой сверкающую борозду.

«Я тоже мечтал когда-то с песней пуститься в странствия по мирскому океану,— думал Пафнутий.— Но вскоре я осознал свое безрассудство, и Нереида не увлекла меня».

Предавшись таким размышлениям, он присел на груду каната и задремал. Во сне ему было видение. Ему почудился оглушительный звук трубы, а небо представилось кроваво-красным, и он понял, что настал последний час. Обратившись с горячей молитвой к господу, он увидел огромного зверя со светящимся кре-

стом на лбу; зверь шел прямо на него, и Пафнутий узнал в нем сильсилисского Сфинкса. Зверь подхватил его зубами, не причиняя ни малейшей боли, и понес словно кошка котенка. Так Пафнутий пронесся над многими царствами, пересек реки и горы и оказался в разоренной стране, покрытой зловещими скалами и горячим пеплом. Из многочисленных трещин, образовавшихся в почве, вырывалось раскаленное дыхание.

Зверь осторожно опустил Пафнутия на землю и сказал:

— Смотри!

Пафнутий склонился над краем бездны и увидел огненную реку, бурлившую в недрах земли, между грядами черных скал. Там, в белесом свете, дьяволы терзали души грешников. Души еще не утратили подобия тел, некогда служивших им оболочкой, и на них даже сохранились обрывки одежды. Невзирая на муки, души казались спокойными. Один из призраков, высокий, седой, с закрытыми глазами, с повязкой на лбу * и жезлом в руке, пел; сладостные звуки его голоса разливались по бесплодным берегам; он воспевал богов и героев. Зеленые бесенята вонзали ему в губы и грудь каленое железо. А тень Гомера продолжала петь. Неподалеку от нее старик Анаксагор *, седой и лысый, чертил на песке с помощью циркуля какие-то фигуры. Дьявол лил ему в ухо кипящее масло, но мудрец не отвлекался и продолжал размышлять. И монах увидел на мрачных берегах огненной реки еще множество теней, которые спокойно читали, либо предавались раздумью, либо беседовали, как наставники и ученики, прогуливаясь под сенью платанов Академии. Один только старик Тимокл держался в стороне и покачивал головой, как бы все отрицая.

Ангел тьмы размахивал перед ним пылающим факелом, но Тимокл считал, что не видит ни ангела, ни огня.

Онемев от удивления, Пафнутий повернулся к зверю. Но Сфинкс исчез, а на его месте монах увидел женщину в покрывале, которая сказала ему:

— Смотри и разумей. Упорство этих нечестивцев так несокрушимо, что даже в аду они остаются жертвами тех заблуждений, которыми обольщались на земле. Смерть не образумила их, ибо, конечно, недостаточно умереть, чтобы узреть бога. Те, которые не знали истины, живя среди людей, не узнают ее вовеки. Демоны, преследующие эти души, не что иное, как проявление божественного правосудия. Но души грешников не чувствуют и не понимают его. Они чужды истины, они не сознают, что осуждены, и сам бог не может заставить их страдать.

— Бог может все,— сказал антинойский настоятель.

— Ничего бессмысленного он не совершает,— возразила женщина в покрывале.— Чтобы наказать их, пришлось бы их просветить, а если они познают истину, они уподобятся избранным.

Тем временем Пафнутий, объятый тревогой и отвращением, вновь склонился над бездной. Под сенью призрачных миртов он увидел тень Никия, улыбающегося, с венком на челе. Возле него находилась Аспазия Милетская *, закутанная в изящный шерстяной плащ; она, по-видимому, говорила о любви и о философии,— до того выражение ее лица было нежно и вместе с тем благородно. Огненный дождь, ливший на них, казался им прохладной росой, а ноги их ступали по раскаленной почве, точно по мягкой мураве. При виде их Пафнутий пришел в ярость.

— Рази его, господи, рази! — вскричал он.— Это Никий. Пусть он проливает слезы! Пусть стенает! Пусть скрежещет зубами!.. Он прелюбодействовал с Таис...

Тут Пафнутий проснулся в объятиях сильного, как Геркулес, матроса, который тащил его по песку, крича:

— Тише, тише, приятель. Клянусь Протеем, ты во сне буйствуешь, старый тюлений пастырь. Не удержи я тебя, ты свалился бы в Эвност. Я спас тебя от смерти, это так же верно, как то, что мать моя торговала соленой рыбой.

— Благодарение богу,— ответил Пафнутий.

И, встав на ноги, он пошел прямо вперед, размышляя о видении, которое было ему во сне.

«Видение это, конечно, нечистое,— думал он.— В нем хула на благость господню, ибо ад предстал мне как нечто нереальное. Видение это от дьявола,— сомненья нет».

Он рассуждал так потому, что умел отличать сны, ниспосланные богом, от тех, которые внушены злыми духами. Это умение весьма полезно отшельнику,— ведь его постоянно обступают призраки. Ибо, когда бежишь от людей, непременно встречаешь духов. Пустыни кишат привидениями. Подходя к разрушенному дворцу, где нашел себе убежище святой отшельник Антоний, паломники неизменно слышали крики вроде тех, что раздаются на улицах городов в праздничные ночи. Это кричали дьяволы, искушавшие праведника.

Пафнутию пришел на память поучительный случай. Он вспомнил святого Иоанна Египетского, которого целых шестьдесят лет дьявол пытался соблазнить видениями. Но Иоанн расстраивал все адские

козин. Все же дьявол, приняв человеческий облик, однажды вошел в пещеру праведника и сказал ему: «Иоанн, постись до завтрашнего вечера». Иоанн, думая, что это был голос ангела, послушался и не вкушал пищи весь следующий день, до вечерни. Вот единственная победа, которую князю Тьмы удалось одержать над святым Иоанном Египетским, и победа эта не так уж велика. Посему не следует удивляться, что Пафнутий тотчас же распознал лживость видения, представшего ему во сне.

Пафнутий кротко посетовал на бога за то, что он отдал его во власть бесов, и тут же почувствовал, что его толкают и увлекают за собою люди, толпой бегущие в одном направлении. Он уже отвык ходить по улицам, поэтому его как некое безжизненное тело бросало от одного прохожего к другому, и несколько раз он чуть было не упал, запутавшись в тунике. Ему захотелось узнать, куда торопятся все эти горожане, и он спросил у одного из них о причине такой сутолоки.

— Разве ты не знаешь, чужестранец,— отвечал тот,— что сейчас начнется представление и на сцене появится Таис? Все спешат в театр, и я тоже. Не хочешь ли пойти со мною?

Пафнутию вдруг стало ясно, что для осуществления его замысла ему очень важно увидеть Таис на сцене, и он последовал за незнакомцем.

Вот перед ними уже высится театр с портиком, украшенным пестрыми масками, и с длинной закругленной стеной, уставленной бесчисленными статуями. Вместе с толпой они вошли в узкий проход, за которым раскинулся залитый светом амфитеатр. Они сели на одну из скамей, которые ступенями спускались к еще безлюдной, но великолепно разукрашенной сцене. Занавеса не было; на сцене виднелся холм вроде тех, что

посвящали древние теням героев. Холм возвышался посреди лагеря. Перед палатками стояли воткнутые копья, на шестах висели золотые щиты, а также лавровые ветки и венки из дубовых листьев. Здесь царили сон и безмолвие. Зато полукруг амфитеатра, переполненный зрителями, гудел, как улей. На лицах отражались пурпурные отсветы колыхавшегося тента, и все взоры с нетерпением и любопытством обращались к широкой безмолвной сцене с палатками и могильным холмом. Женщины, пересмеиваясь, ели лимоны, а завсегдатаи весело перекликались из ряда в ряд.

Пафнутий мысленно молился и воздерживался от пустого разговора, а сосед его стал горько сокрушаться об упадке театра.

— Бывало, искусные актеры в масках декламировали стихи Еврипида и Менандра,— говорил он.— А теперь драмы уже не читают, а представляют их, и от дивных зрелищ, которыми в Афинах гордился сам Дионис, осталось лишь то, что понятно любому варвару, даже скифу: движение и жест. Маска с металлическими пластинками, придававшими голосу больше силы, котурны *, которые увеличивали рост актеров, приравнивая их к богам, трагическое величие и напев дивных стихов — все это в прошлом. Мимы без масок да плясуньи заменили Павлов и Росциев *. Что сказали бы афиняне времен Перикла, если бы женщина осмелилась тогда появиться на сцене! Непристойно ей выступать перед зрителями. Мы совсем выродились, раз допускаем такой срам. Женщина — враг мужчины, она позор земли,— это так же верно, как то, что меня зовут Дорионом.

— Ты судишь разумно,— отвечал Пафнутий,— женщина наш злейший враг. Она дарует нам наслаждение, и этим-то она и опасна.

— Клянусь бессмертными богами,— воскликнул Дорион,— женщина дарует мужчинам не наслаждение, а печаль, смятение и заботы. Причина самых жгучих наших мук — это любовь. Послушай, чужестранец, в молодости я побывал в Трезене, в Арголиде, и там я видел невероятной толщины мирт, листья которого были усеяны бесчисленными дырочками. Вот что рассказывают трезенцы об этом мирте: царица Федра, когда она влюбилась в Ипполита, целые дни проводила, томясь, под этим деревом. Смертельно тоскуя, она брала золотую булавку, скреплявшую ее белокурые волосы, и прокалывала ею листья деревца, усеянного душистыми ягодами. Так все листки его покрылись дырочками. Федра, как тебе известно, погубила невинного юношу, преследуя его своей преступной страстью, и сама кончила жизнь позорной смертью. Она заперлась в супружеской опочивальне и удавилась на золотом пояске, который она привязала к крюку из слоновой кости. Богам угодно было, чтобы мирт, свидетель столь страшного падения, и на новых листочках хранил следы этих проколов. Я сорвал один из таких листочков и привязал его к своей кровати, у изголовья, чтобы он беспрестанно предостерегал меня от неистовств любви и утверждал меня в учении моего наставника, божественного Эпикура, который учит, что надо страшиться любого желания *. Но, по правде говоря, любовь — это ведь болезнь печени, и потому никак нельзя зарекаться, что не захвораешь.

Пафнутий спросил:

— Дорион, а что радует тебя?

Дорион грустно отвечал:

— У меня одна-единственная радость, и, должен сознаться, радость небольшая — это размышление. Но

при плохом пищеварении не следует стремиться к другим утехам.

Слова Дориона подсказали Пафнутию мысль приобщить эпикурейца к духовным радостям, которые дарует созерцание бога. Он начал так:

— Постигни истину, Дорион, и открой свою душу свету.

Едва он сказал это, как со всех сторон к нему повернулись лица и протянулись руки, призывая его замолчать. Театр совсем затих, и вскоре раздались звуки героической музыки.

Началось представление *. Из палаток стали выходить воины, готовясь к походу, как вдруг каким-то чудом зловещая туча заволокла вершину могильного холма. Когда туча рассеялась, на холме появилась тень Ахилла в золотых доспехах. Она простерла руку к воинам, как бы говоря: «Итак, вы уезжаете, сыны Даная. Вы возвращаетесь в отчизну, которой мне уже не видать, и покидаете мою могилу, не совершив жертвоприношения?» Высшие военачальники греков уже толпились у подножия холма. Сын Тесея Акамант, престарелый Нестор, Агамемнон с жезлом и повязкой на голове дивились чуду. Юный сын Ахилла Пирр повергся ниц. Улисс, которого легко было узнать по шапке и по выбившимся из-под нее кудрям, жестами показывал, что он поддерживает требования тени героя. Он спорил с Агамемноном, и можно было сразу догадаться, что̀ именно говорит каждый из них.

— Ахилл достоин того, чтобы мы воздали ему почести: он пал смертью храбрых во имя Эллады,— говорил царь Итаки.— Он просит, чтобы девственная Поликсена, дочь Приама, была принесена в жертву на его могиле. Данайцы! Умиротворите душу героя, и да возрадуется Пелеев сын в Аиде.

Но царь царей возразил:

— Пощадим троянских дев, оторванных нами от алтарей. И без того много страданий выпало на долю славного рода Приама.

Он говорил так потому, что разделял ложе с сестрой Поликсены. Тогда хитроумный Улисс попрекнул его тем, что он предпочел ложе Кассандры копью Ахилла.

Все греки в знак одобрения покрыли его слова звоном скрещенных копий. Смерть Поликсены была решена, и умиротворенная тень Ахилла исчезла. Мыслям героев вторила музыка — то гневная, то жалобная. Амфитеатр разразился рукоплесканиями.

Пафнутий, все сопоставлявший с божественной истиной, прошептал:

— О свет и тьма, изливающиеся на язычников! Такие жертвоприношения предвещали народам и в грубом виде изображали искупительную жертву сына божия.

— Все религии порождают преступления,— возразил эпикуреец.— К счастью, явился божественно мудрый грек и избавил людей от тщетного страха перед неведомым...

Тем временем Гекуба в разорванной одежде, с разметавшимися седыми волосами вышла из палатки, где ее держали как пленницу. Когда зрители увидели этот красноречивый образ страдалицы, у них вырвался протяжный вздох. Гекубе приснился вещий сон, и она сокрушалась о своей дочери и о самой себе. Улисс уже стоял возле нее и требовал от нее Поликсену. Престарелая мать рвала на себе волосы, ногтями царапала себе щеки и целовала руки этого жестокого человека, но он был по-прежнему ласково-безжалостен и как бы говорил: «Будь разумна, Гекуба, склонись перед необхо-

димостью. У нас тоже найдется немало старушек матерей, которые оплакивают своих чад, навеки почивших под соснами Иды».

Тем временем Кассандра, некогда царица цветущей Азии, а ныне рабыня, посыпала прахом свою злосчастную голову.

Но вот, приподняв завесу палатки, появляется девственная Поликсена. Единодушный трепет пробегает по рядам зрителей. Они узнали Таис. Пафнутий увидел ее, увидел ту, за которой он пришел. Белоснежной рукой она поддерживала над собою тяжелую завесу. Неподвижная, словно прекрасная статуя, нежная и гордая, она обвела окружающих взглядом фиалковых глаз, и все содрогнулись при виде ее трагической красоты.

Послышался одобрительный гул. Пафнутий же, взволнованный до глубины души, прижав руки к сердцу, как бы сдерживая его биение, прошептал:

— Зачем наделил ты, о господи, таким могуществом одно из твоих созданий?

Дорион, не столь взволнованный, сказал:

— Спору нет, атомы, слившиеся воедино, чтобы составить эту женщину, являют собою сочетание, приятное для глаз. Но это всего лишь игра природы, и атомы сами не ведают, что̀ творят. В один прекрасный день они распадутся с тем же безразличием, с каким соединились. Где теперь атомы, некогда составлявшие Лаису или Клеопатру?* Не спорю: женщины бывают иной раз пленительны, но они подвержены досадным недомоганиям и отталкивающим болезням. Умы, склонные к размышлению, всегда помнят об этом, в то время как люди грубые не придают этому значения. И женщины внушают любовь, хотя и безрассудно любить их.

Так философ и аскет любовались Таис, и мысль каждого из них развивалась своим путем. Ни тот, ни другой не замечал Гекубы, которая, обратившись к дочери, знаками говорила ей: «Старайся растрогать жестокосердного Улисса. Прибегни к слезам, к своей красоте, к своей юности!»

Таис, или вернее сказать — сама Поликсена, выпустила из руки завесу. Она ступила шаг и сразу покорила все сердца. Когда же она благородной и легкой поступью направилась к Улиссу, ритм ее движений, сопровождавшихся звуком флейт, вызвал представление о каком-то блаженном мире, и зрителям показалось, будто она — божественное средоточие мировой гармонии. Люди видели только ее одну, все остальное исчезало в лучах ее сияния. Между тем действие продолжалось.

Осторожный сын Лаэрта отворачивался и прятал руку под плащом, чтобы избежать взглядов и поцелуев умоляющей матери. Девушка знаком успокоила его, сказав, что желание его будет исполнено. Ее ясный взор говорил: «Улисс, я последую за тобою, подчиняясь необходимости, а также потому, что и сама хочу умереть. Я дочь Приама и сестра Гектора *, и ложе мое, которое некогда почиталось достойным принять царей, не примет чужеземного владыку. Я добровольно отказываюсь от солнечного света».

Гекуба безжизненно лежала, распростершись на земле, но тут она вдруг поднялась и в отчаянии крепко обняла дочь. Поликсена с ласковой непреклонностью разжала обхватившие ее старые руки. Она как бы говорила: «Матушка, не подвергай себя оскорблениям властелина. Не жди того, чтобы он недостойно поволок тебя, оторвав мать от дочери. Лучше дай мне, родная,

свою сморщенную руку и приблизь впалые щеки к моим губам».

Скорбь делала лицо Таис еще прекраснее. Толпа была благодарна этой женщине за то, что она облекает превратности и горести жизни сверхчеловеческой красотой, а Пафнутий прощал ей нынешнее великолепие в предвидении будущего смирения и заранее радовался, что украсит небеса такою праведницей.

Представление подходило к концу. Гекуба замертво рухнула наземь, а Поликсена вслед за Улиссом направилась к могиле, вокруг которой расположились виднейшие военачальники. Под звуки погребальных напевов она взошла на могильный холм, на вершине которого сын Ахилла из золотой чаши совершал возлияние в честь почившего героя. Когда совершавшие жертвоприношение протянули к девушке руки, чтобы схватить ее, она знаком показала, что хочет умереть свободной, как подобает дочери царей. Потом она разорвала на себе тунику и указала место, где бьется сердце. Пирр, отвернувшись, вонзил в него меч, и благодаря искусному приспособлению из белоснежной груди девушки багряной струей хлынула кровь; взор ее затуманился, выражая безмерный ужас смерти; она запрокинула голову и упала, строго соблюдая благопристойность.

В то время как военачальники набрасывали на жертву покрывало и осыпали ее лилиями и анемонами, в амфитеатре послышались вопли ужаса и душераздирающие рыдания, а Пафнутий, вскочив с места, стал громовым голосом пророчествовать:

— Язычники! Мерзкие почитатели темных сил! И вы, ариане, вы, еще более подлые, чем идолопоклонники, это вам назидание! То, что вы сейчас видели,— образ и символ. В этой сказке заключен сокровенный

смысл, и вскоре женщина, которую вы здесь видели, будет как непорочный агнец принесена в жертву воскресшему богу.

Толпа темными потоками потекла к выходам. Антинойский настоятель покинул изумленного Дориона и смешался с толпой, не переставая пророчествовать.

Час спустя он стучался у двери Таис.

Лицедейка жила тогда в богатом квартале Ракотиде, вблизи гробницы Александра; ее дом стоял среди тенистых садов, где возвышались искусственные скалы и струился ручей, обрамленный тополями.

Монаху отворила старая черная рабыня в кольцах и запястиях; она спросила, что ему надо.

— Я хочу повидать Таис,— отвечал он.— Бог мне свидетель, я пришел издалека лишь для того, чтобы повидать ее.

На нем была богатая туника и говорил он властно, поэтому рабыня впустила его.

— Таис в гроте Нимф,— сказала она.

Папирус

Таис была дочерью бедных, но свободных родителей, приверженных язычеству. Когда она была маленькой, ее отец содержал в Александрии, у Лунных ворот, кабачок, в котором обычно собирались матросы. От времени раннего детства у нее сохранилось несколько отрывочных, но ярких воспоминаний. Отец представлялся ей сидящим поджав под себя ноги возле очага; он был большой, спокойный и жестокий, вроде тех древних фараонов, о которых поют на перекрестках слепцы. Она мысленно видела свою мать, печальную, изможденную женщину, бродившую по кабачку словно голодная кошка; она оглашала весь дом своим резким голосом и озаряла его отблесками фосфорических глаз. В предместье поговаривали, что она колдунья и по ночам, обернувшись

совой, улетает к любовникам. Это была неправда. Таис не раз выслеживала мать и поэтому отлично знала, что она не занимается магией, но, снедаемая алчностью, целые ночи напролет подсчитывает дневную выручку. Равнодушный отец и жадная мать предоставляли девочке искать пропитание где придется, как домашней скотине. Поэтому она научилась ловко вытаскивать одну за другой монеты из поясов пьяных матросов, в то время как забавляла их наивными песенками и непристойными словами, смысла которых сама не понимала. В горнице, пропитанной запахом бродивших напитков и смолянистых бурдюков, девочка переходила с колен на колена; щеки ее становились липкими от пива и сплошь исколотыми грубой щетиной; зажав в ручке монеты, она, наконец, убегала, чтобы купить медовых лепешек у старухи, сидевшей на корточках возле своих корзин под Лунными воротами. Изо дня в день повторялось то же самое: матросы рассказывали о перенесенных опасностях, когда Эвр* треплет морские водоросли, потом принимались за игру в кости и бабки и сквернословили, требуя лучшего киликийского пива.

По ночам девочка просыпалась из-за драк посетителей. Устричные раковины, летавшие над столами среди дикого воя, рассекали лбы. Иной раз при свете коптящих светильников она видела, как поблескивают ножи и льется кровь.

В детстве добрые чувства пробуждались в ней лишь благодаря кроткому Ахмесу, и ее юная душа преисполнялась негодования, когда при ней обижали этого человека. Ахмес, раб ее родителей, был нубиец; он был черен, как котел, с которого он степенно снимал пену, и добр, как ночь, проведенная в сладком сне. Он часто брал Таис на колени и рассказывал ей древ-

ние сказания, где говорилось о подземельях, вырытых для сокровищ жадных царей, которые потом приказывали умертвить и каменщиков и зодчих. Говорилось тут и о ловких ворах, которые женились на царевнах, и о куртизанках, воздвигших для себя пирамиды. Маленькая Таис любила Ахмеса как отца, как мать, как кормилицу, как собаку. Она цеплялась за его передник, когда он отправлялся в чулан, уставленный амфорами, или на скотный двор; здесь худые, взъерошенные цыплята, состоявшие, казалось, только из клюва, когтей да перьев, при виде черного повара с ножом в руках взлетали не хуже орлят. Частенько ночью, лежа на соломе, он, вместо того чтобы спать, мастерил для девочки водяные мельницы и кораблики со всеми снастями величиною с ладонь.

Хозяева обращались с ним жестоко,— одно ухо у него было разорвано, все тело исполосовано рубцами. Тем не менее выражение лица у него было радостное и спокойное. И никто из окружающих не задумывался о том, откуда черпает он душевную бодрость и смирение. Он был простосердечен, как дитя.

Занимаясь тяжелой работой, он тонким голосом пел песнопения, которые смутно волновали Таис и погружали ее детскую душу в мечтательность.

Он торжественно и радостно шептал:

— Скажи нам, Мария, что видела ты там, откуда грядешь?
— *Я видела саван, и пелены, и ангелов, восседающих на гробнице. И я видела славу воскресшего.*

Таис спрашивала у него:

— Отец, почему ты поешь об ангелах, восседающих на гробнице?

И он ей отвечал:

— Светик глаз моих, я пою об ангелах потому, что господь наш Иисус Христос вознесся на небо.

Ахмес был христианином. Он принял крещение и на собраниях верующих, которые он тайно посещал в часы, предоставленные ему для сна, его звали Феодором.

В те дни Церковь подвергалась жесточайшим гонениям. По приказу императора разрушали базилики, сжигали священные книги, переплавляли богослужебные сосуды и светильники. Христиане лишались всех почетных должностей и ждали только смерти. В александрийской общине царил ужас; темницы были переполнены. Среди верующих ходила страшная молва о том, что в Сирии, Аравии, Месопотамии, Каппадокии — словом, по всей империи — бич, дыба, клещи, кресты, хищные звери терзали епископов и девственниц. Тогда Антоний, уже прославившийся отшельничеством и видениями, пророк и пастырь верующих, живущих в Египте, словно орел ринулся с вершины своей дикой горы на Александрию и, перелетая от церкви к церкви, воспламенил своим горением всю общину. Незримый для язычников, он одновременно появлялся на всех собраниях христиан, внушая каждому верующему дух силы и осторожности, которым сам был одушевлен. Особенно жестокие преследования обрушивались на рабов. Многими овладевал ужас, и они отрекались от веры. Другие — и таких было большинство — бежали в пустыню, ибо надеялись спастись там, предавшись созерцанию или пустившись в разбой. Но Ахмес по-прежнему посещал собрания, навещал узников, хоронил замученных и с радостью исповедовал учение Христа. Великий Антоний заметил чистосердечное рвение черного раба, и перед тем как вернуться в пустыню, обнял его и дал ему целование мира.

Когда Таис исполнилось семь лет, Ахмес стал рассказывать ей о боге.

— Добрый господь бог,— говорил он,— жил на небесах, как фараон под шатром своего гарема и под кущами своих садов. Он был старейшиной старейших и древнее мира, и был у него один-единственный сын, князь Иисус, который был краше всех дев и ангелов. И господь возлюбил его всем сердцем. И добрый господь бог сказал князю Иисусу: «Покинь гарем мой и чертоги, и водометы мои и сады. Сойди на землю на благо людей. Там ты будешь как малое дитя и будешь жить бедняком среди бедняков. Пищей твоей каждодневной будет страдание, и слезы твои потекут столь обильно, что образуют реки, и изможденный раб, окунувшись в них, обретет утешение. Ступай, сын мой». Князь Иисус послушался доброго господа и сошел на землю в месте, которое зовется Вифлеемом Иудейским. И он гулял там по лугам, покрытым благоухающими анемонами, и говорил идущим вместе с ним: «Блаженны алчущие, ибо я приведу их к престолу отца моего. Блаженны жаждущие, ибо они утолят жажду в небесных источниках. Блаженны плачущие, ибо я утру их слезы тканями более тонкими, чем покрывала сирийских принцесс». Поэтому бедняки любили его и верили ему. Зато богатые его ненавидели, ибо они боялись, что Христос вознесет бедных превыше богачей. В то время Клеопатра и Цезарь были всемогущи на земле. Они возненавидели Иисуса и повелели судьям и первосвященникам предать его смерти. Сирийские князья подчинились воле египетской царицы и воздвигли на высокой горе крест и на этом кресте казнили Иисуса. Но благочестивые женщины обмыли тело распятого и похоронили его, а князь Иисус разбил крышку гроба и вновь вознесся на небо, к своему отцу, доброму господу. И с тех пор всякий, кто умирает во Христе, возносится на небеса. Господь бог, простирая объятия,

говорит им: «Добро пожаловать, возлюбившие сына моего. Омойтесь, потом утолите голод». Они омоются в купели под звуки нежных напевов, а за трапезой увидят пляску танцовщиц и услышат рассказчиков, повествованиям которых не будет конца. Доброму господу богу они будут дороже, чем свет очей его,— ведь они станут его гостями; и в удел им достанутся ковры из его караван-сарая и гранаты из его садов.

Не раз говорил так Ахмес, и благодаря ему Таис познала истину. Слушая его, она приходила в восторг и восклицала:

— Как хотелось бы мне отведать гранатов доброго господа бога.

Ахмес отвечал:

— Вкусить плодов небесных может только тот, кто принял крещение во имя Христово.

И Таис просила, чтобы ее крестили. Когда раб убедился, что она искренно уповает на Христа, он решил просветить ее глубже, дабы она приняла крещение и тем самым вошла в лоно Церкви. И он горячо привязался к ней, как к своей духовной дочери.

Жестокосердные родители постоянно обижали девочку; у нее даже не было постели под отчим кровом. Она спала в хлеву, вместе с домашней скотиной. Тут-то по ночам ее тайно и посещал Ахмес.

Он тихонько подходил к циновке, на которой она лежала, и садился на корточки, выпрямив стан,— в положении, издавна усвоенном его племенем. Черная фигура и черное лицо раба терялись в сумраке; только яркие белки глаз сверкали, и свет их напоминал луч зари, пробивавшийся в дверную щель. Он говорил тихим и певучим голосом, чуть-чуть гнусавя, и это придавало его речи грустную и ласковую протяжность, вроде той, что слышится в песнях, раздающихся

на улицах по вечерам. Он рассказывал девочке о том, что говорится в евангелии, и подчас голосу его вторили, словно хор таинственных духов, ослиное дыхание или нежное мычание вола. Его речь спокойно текла во мраке, и все вокруг постепенно проникалось верою, благодатью и надеждой; и новообращенная, убаюканная однообразными звуками и очарованная смутными видениями, безмятежно засыпала, улыбаясь и вложив ручку в руку Ахмеса, овеянная благодатью темной ночи и священных тайн, под взглядом звезды, мерцавшей сквозь расщелины яслей.

Посвящение Таис длилось целый год, до тех дней, когда христиане в радости и веселии празднуют пасху. И вот однажды ночью на святой неделе, когда Таис уже задремала на циновке в хлеву, она вдруг почувствовала, что раб приподымает ее. Глаза его горели каким-то особым блеском; на нем был не рваный передник, как обычно, а длинный белый плащ; он прикрыл им девочку и тихо шептал:

— Пойдем, душа моя! Пойдем, мой светик! Пойдем, сердечко мое! Пойдем, чтобы облечься в лучезарные ризы крещения.

И он понес ее, прижав к груди. Девочку мучили страх и любопытство, она высунула голову из-под плаща и обвила руками шею своего друга. А он бежал во мраке по темным улицам, пересек еврейский квартал, потом обогнул кладбище, с которого доносился зловещий крик орлана. На одном из перекрестков им попались кресты с телами распятых; над ними кружила стая воронов, которые хищно щелкали клювами. Таис прижалась лицом к груди раба. Всю остальную часть пути она уже не решалась взглянуть на окружающее. Вдруг ей почудилось, что ее несут вниз, под землю. Открыв глаза, она увидела себя в тесной

пещере, освещенной смоляными факелами; стены были расписаны крупными прямыми фигурами, которые, казалось, оживали в чаду факелов. Там виднелись люди в длинных туниках, с пальмовыми ветвями в руках, среди агнцев, голубок и виноградных лоз.

В одном из этих изображений Таис узнала Иисуса Назарея, потому что у его ног цвели анемоны. Посреди пещеры, возле большой каменной купели, до краев наполненной водой, стоял старец в расшитой золотом пурпурной ризе, с невысокой митрой на голове. У него было худое лицо и длинная борода. Несмотря на богатое одеяние, он казался скромным и ласковым. То был епископ Вивантий, глава Киренской общины, изгнанный из родных мест; чтобы прокормиться, он стал ткачом и выделывал грубые сукна из овечьей шерсти. Двое бедно одетых мальчиков стояли справа и слева от него. Находившаяся тут же старуха негритянка держала в руках беленькое платьице. Ахмес поставил девочку на пол, преклонился перед епископом и сказал:

— Отче, вот маленькая душа, чадо души моей. Я привел ее, чтобы ты, как обещал, и если твоей милости угодно будет, дал ей крещение жизни.

Слушая Ахмеса, епископ простер руки, и стало видно, что они искалечены. В дни гонений, когда он проповедовал свою веру, у него вырвали ногти; Таис испугалась и бросилась к Ахмесу. Но пастырь ласково успокоил ее:

— Не бойся, возлюбленное дитя. Вот твой духовный отец, Ахмес, которого приобщенные к истинной жизни называют Феодором, и нежная мать по благодати; она собственноручно приготовила тебе белое одеяние.

И он указал на негритянку.

— Ее зовут Нитидой,— пояснил он.— В этом мире она рабыня. Но на небесах Христос возвеличит ее как одну из своих невест.

Потом он спросил новообращенную отроковицу:

— Таис, веруешь ли во единого бога, отца вседержителя, в сына божия единородного, распятого нашего ради спасения, и во все, чему учили апостолы?

— Верую,— ответили в один голос негр и негритянка; они стояли, держась за руки.

По слову епископа Нитида опустилась на колени и сняла с Таис все одежды. Девочка стояла голая, с амулетом на шее. Епископ трижды погрузил ее в крестильную купель. Служки подали елей и соль; Виваитий совершил помазание и положил девочке в рот крупицу соли. Потом рабыня обтерла тельце, которому отныне, после многих испытаний, уготована была вечная жизнь, и облекла его в белое платье, вытканное ею собственноручно.

Епископ дал каждому целование мира и, завершив обряд, снял с себя пастырское облачение.

Когда все они вышли из подземной молельни, Ахмес сказал:

— Сегодня мы привели еще одну душу к доброму господу богу, это надо отпраздновать. Пойдемте в дом, где ты живешь, пастырь Виваитий, и проведем остаток ночи в ликовании.

— Ты правильно рассуждаешь, Феодор,— ответил епископ.

И он повел их в свое жилище, расположенное неподалеку. Оно состояло из одной-единственной горницы, всю обстановку которой составляли два ткацких станка, топорный стол да истертая циновка. Как только они вошли, нубиец воскликнул:

— Нитида, принеси жаровню и кувшин с маслом, и приготовим отменное угощение.

С этими словами он вынул рыб, которые у него были спрятаны под плащом. Потом развел огонь и поджарил их. Тогда все присутствующие — епископ, девочка, два мальчика и двое рабов — уселись кружком на циновке и съели рыб, благословляя господа. Вивантий рассказал о мученичестве, которое он претерпел, и возвестил скорое торжество Церкви. Говорил он грубовато, но речь его искрилась шутками и яркими образами. Он сравнивал жизнь праведников с пурпурной тканью и, объясняя таинство крещения, говорил:

— Святой дух реял над водами, поэтому-то христиане и принимают крещение водою. Но ведь и бесы тоже живут в ручьях; источники, посвященные нимфам, очень опасны и нередко несут людям душевные и телесные немощи.

Иной раз он изъяснялся загадками и тем самым внушал девочке еще большее благоговение. Под конец трапезы хозяин предложил собравшимся немного вина, от которого они стали разговорчивей и принялись петь псалмы и молитвы. Ахмес и Нитида поднялись с места и сплясали нубийскую пляску, знакомую им еще с детства; она исполнялась их соплеменниками, вероятно, от начала веков. То была любовная пляска; взмахивая руками и мерно раскачиваясь всем телом, они делали вид, будто то избегают, то ищут друг друга. Они таращили глаза и улыбались, обнажая ослепительно белые зубы.

Вот при каких обстоятельствах Таис приняла святое крещение.

Она любила забавы, и по мере того как она подрастала, в ней стали зарождаться смутные желания.

Она целыми днями пела и водила хороводы с уличной детворой, а когда становилось темно, возвращалась в родительский дом, все еще напевая:

«Старушка горемычная, что все дома сидишь?»
«Я разматываю милетскую шерсть и пряжу».
«Старушка горемычная, как погиб твой сын?»
«Он мчался на белом коне, сорвался и упал в море».

Теперь обществу кроткого Ахмеса она предпочитала общество мальчиков и девочек. Она не замечала, что ее друг стал уделять ей меньше времени. Гонения утихли, собрания христиан стали чаще, и нубиец усердно посещал их. Рвение его разгоралось; с уст его порой срывались таинственные угрозы. Он говорил, что богачам не удержать их богатств. Он бродил по базарам, где обычно сходились христиане из простонародья, и тут, собрав вокруг себя бедняков, укрывшихся в тени древних стен, возвещал им освобождение рабов и скорое торжество справедливости.

— В царствии божьем,— говорил он,— рабы будут пить прохладные вина и вкушать сладчайшие плоды, а богачи, валяясь у их ног, как псы, будут подбирать крохи от их трапезы.

Эти речи не остались в тайне; о них стали поговаривать в предместьях, и хозяева встревожились, как бы Ахмес не подбил рабов на восстание. Кабатчик был глубоко возмущен речами Ахмеса, однако не показывал этого.

Однажды в кабачке с жертвенного стола пропала серебряная солонка. Ахмеса обвинили в том, что он украл ее по злобе на хозяина и на богов, чтимых в империи. Улик никаких не нашлось, раб решительно отвергал обвинение. Тем не менее его отвели в суд, а так как он слыл дурным работником, судья приговорил его к смертной казни.

— Руки твои не принесут пользы,— сказал он,— поэтому их пригвоздят к столбу.

Ахмес невозмутимо выслушал приговор, почтительно поклонился судье, и его повели в городскую темницу. В течение трех дней, которые он провел там, он неустанно проповедовал узникам евангелие, и, как потом рассказывали, многие преступники и сам тюремщик уверовали в воскресшего Христа.

Осужденного отвели на тот самый перекресток, где года два тому назад он радостно шел, неся под белым плащом маленькую Таис, чадо души своей, свой дорогой цветик. Он висел на кресте с пригвожденными руками, но не проронил ни единой жалобы, только несколько раз прошептал: «Жажду».

Его мученичество длилось три дня и три ночи. Трудно поверить, что плоть человеческая может вынести столь долгую пытку. Не раз уже думали, что он скончался; мухи облепили его гноящиеся веки, но он неожиданно раскрывал налитые кровью глаза. Утром четвертого дня он пропел ясным, как у ребенка, голосом:

Скажи нам, Мария, что видела ты там, откуда грядешь?

Потом улыбнулся и сказал:

— Вот они, ангелы доброго господа! Они несут мне вино и плоды. Какая прохлада разливается от взмахов их крыл!

И он испустил дух.

На лице его и после смерти осталось выражение блаженного восторга. Солдаты, охранявшие распятие, исполнились благоговения; Вивантий с несколькими братьями-христианами снял с креста его останки и предал погребению среди могил других мучеников, в подземной молельне святого Иоанна Крестителя.

И Церковь сохранила благоговейную память о святом Феодоре Нубийце.

Три года спустя после победы над Максенцием * Константин издал указ, по которому христианам даровался мир, и с тех пор верующие уже больше не подвергались гонениям, разве что со стороны еретиков.

Когда друг Таис принял мученичество, ей шел одиннадцатый год. Его смерть повергла ее в непреодолимый ужас и грусть. Душа ее не была достаточно чиста, чтобы понять, что раб Ахмес как всей жизнью своей, так и смертью заслужил вечное блаженство. В ее маленькой душе зародилась мысль, что быть добрым в этом мире можно только ценою самых жестоких страданий. И она боялась стать доброй, ибо ее нежное тело страшилось мук.

Она еще в отрочестве стала отдаваться юношам, работавшим в порту, и следовала за стариками, бродившими вечером по предместьям, а на полученные от них деньги покупала себе сласти и украшения.

Она не приносила домой ни гроша из того, что зарабатывала, поэтому мать обращалась с ней грубо. Чтобы избежать побоев, девочка босиком убегала к городским стенам и пряталась в расщелинах, служивших убежищем для ящериц. Здесь она с завистью думала о богато разодетых женщинах, которых проносили мимо нее на носилках многочисленные рабы.

Однажды мать избила ее особенно жестоко, и Таис сидела на пороге дома, скорчившись и застыв в угрюмой неподвижности; тем временем какая-то старуха остановилась около их дома; несколько мгновений она молча присматривалась к девочке, потом воскликнула:

— Прекрасный цветок, дивный ребенок! Счастлив отец, зачавший тебя, и мать, которая произвела тебя на свет!

Таис потупилась и не отвечала. Глаза у нее были красные, и видно было, что она плакала.

— Белая моя фиалочка,— продолжала старуха,— неужели твоя мать не гордится, что вскормила такую маленькую богиню, и отец не радуется в сердце своем, когда видит тебя?

Тогда девочка прошептала, как бы говоря сама с собою:

— Мой отец — бурдюк с вином, а мать — ненасытная пиявка.

Старуха оглянулась по сторонам, не видит ли ее кто-нибудь. Потом сказала вкрадчиво:

— Нежный цветок гиацинта, вспоенный солнцем, пойдем со мною, и ты станешь зарабатывать на жизнь только пляской и улыбками. Я буду кормить тебя медовыми лепешками, а сыну моему, милому мальчику, ты станешь дороже зеницы ока. Сын у меня красавец, он молод; на подбородке у него еще только легкий пушок; кожа у него нежная; он, как говорится, все равно что ахарнский поросенок.

Таис ответила:

— Я охотно пойду с тобою.

Она встала и последовала за старухой.

Эта женщина, по имени Мероя, обучала юношей и девушек танцам и водила из города в город, предлагая их богачам для развлечения во время пиршеств.

Предвидя, что Таис в скором времени станет прекраснейшей из женщин, она выучила ее, с плетью в руках, музыке и декламации; когда дивные ноги девушки поднимались не в лад с звуками кифары, она стегала их ремнем. Старухин сын, хилый бесполый недо-

носок неопределенного возраста, всячески обижал ее и вымещал на ней свою ненависть к женщинам. Соперничая с танцовщицами, изяществу которых он подражал, он обучал Таис тому, как, исполняя пантомиму, передавать выражением лица, движениями и позами различные чувства и в особенности любовную страсть. Он давал ей советы надменно, как многоопытный наставник, но едва только замечал, что она рождена на радость мужчинам, он царапал ей щеки, щипал руки или, как злая девчонка, исподтишка колол ее шилом. Благодаря его урокам Таис в короткий срок стала превосходной музыкантшей, актрисой и танцовщицей. Жестокость хозяев не удивляла ее; ей казалось вполне естественным, что с ней обращаются так грубо. Она питала даже какое-то почтение к этой старой женщине, которая хорошо знала музыку и пила греческие вина. Остановившись на время в Антиохии, Мероя отдала свою ученицу местным богатым купцам, чтобы девушка развлекала их на пирах пляской и игрой на флейте. Пляски Таис всем очень нравились. По окончании трапезы богатейшие гости уводили ее в рощицы на берегу Оронта. Она отдавалась всем желающим, не зная цены любви. Но однажды ночью, когда она танцевала перед самыми утонченными молодыми щеголями, к ней подошел сын проконсула, сияющий молодостью и вожделением, и сказал ей голосом, нежным, как поцелуй:

— Зачем я не венок, венчающий твои кудри, Таис! Зачем я не туника, облегающая твое дивное тело, зачем я не сандалия с твоей прекрасной ноги! Но я хочу, чтобы ты попирала меня ножкой, как сандалию; я хочу, чтобы мои ласки заменили тебе тунику и венок. Пойдем, чудесная девушка, пойдем ко мне и забудем весь мир.

Пока юноша говорил, Таис смотрела на него и заметила, что он очень хорош собою. Вдруг она почувствовала, что на лбу у нее выступила холодная испарина; она позеленела, как трава;* ноги ее подкосились; глаза заволоклись туманом. Юноша стал снова ее просить. Но она отказалась последовать за ним. Тщетно он бросал на нее пылающие взгляды, шептал огненные слова; когда же он обнял ее, пытаясь увести, она его резко оттолкнула. Он стал умолять ее, и на глазах его показались слезы. Но в ней пробудилась какая-то новая сила, неведомая и непреоборимая, и она устояла.

— Что за вздор,— возмущались собравшиеся.— Лоллий из благородной семьи, он красавец, богач, и какая-то флейтистка им пренебрегает!

Лоллий вернулся домой один, и ночью страсть его разгорелась буйным пламенем. На рассвете бледный, с заплаканными глазами, он подошел к дому флейтистки и украсил цветами ее дверь. Таис же, преисполненная смущения и страха, всячески избегала его, но образ его неотступно носился перед нею. Она страдала, сама не понимая почему. Она спрашивала самое себя: отчего она так изменилась и откуда эта тоска? Она гнала от себя всех своих любовников: они стали ей противны. Ей несносен стал свет божий, и целыми днями она лежала и рыдала, уткнувшись лицом в подушки. Лоллию несколько раз удалось нарушить запрет Таис и проникнуть к ней; он то умолял, то проклинал злую девушку. Она была в его присутствии робка, как девственница, и твердила одно:

— Не хочу! Не хочу!

Недели две спустя, отдавшись Лоллию, она поняла, что любит его; она перешла к нему в дом и уже не покидала возлюбленного. Началась жизнь, полная неизъяснимого блаженства. Они жили, запершись

в доме, не спуская друг с друга глаз, говорили друг другу слова, которые говорят только детям. По вечерам они прогуливались вдвоем вдоль пустынных берегов Оронта или бродили по лавровым рощам. Иной раз они поднимались с зарею и отправлялись на склоны Сильпия за гиацинтами. Они пили из одного кубка, а когда Таис клала в рот виноградину, Лоллий зубами брал ее из девичьих губ.

Однажды Мероя явилась к нему и стала требовать, чтобы он вернул ей девушку.

— Это моя дочь,— кричала она во весь голос,— у меня отняли дочь, благоуханный мой цветик, мою плоть и кровь.

Лоллий откупился от старухи, дав ей много денег. Но она вновь пришла и потребовала еще несколько червонцев; тогда юноша отправил ее в тюрьму, и судьи, выяснив, что старуха повинна во многих преступлениях, приговорили ее к смерти и отдали хищникам на растерзание.

Таис любила Лоллия с неистовой страстью, подсказанной ей воображением, и с простодушием непорочности. Она вполне искренно говорила ему:

— Я никогда не принадлежала никому, кроме тебя.

Лоллий отвечал:

— Ни одной женщине не сравниться с тобою.

Чары длились полгода и рассеялись в один день. Вдруг Таис почувствовала, что опустошена и одинока. Она не узнавала прежнего Лоллия, она думала: «Кто внезапно подменил мне его? Как случилось, что он стал похож на всех прочих мужчин и не похож на самого себя?»

Она ушла от него с затаенной надеждой обрести Лоллия в другом юноше, раз она уже не находила его в нем самом. Она думала, что жить с человеком,

которого она никогда не любила, будет не так грустно, как жить с тем, кого уже больше не любишь. Она появлялась в обществе молодых сластолюбцев на священных празднествах, когда нагие девушки пляшут в храмах и толпы куртизанок вплавь пересекают Оронт. Она принимала участие во всех увеселениях, которым предавался богатый и порочный город; особенно часто посещала она театры, где искусные мимы, съехавшиеся со всех сторон, приводили в восторг жадную до зрелищ толпу.

Она внимательно наблюдала за мимами, танцовщиками, актерами, а в особенности за женщинами, которые в трагедиях изображали богинь, влюбленных в юношей, и смертных женщин, любимых богами. Она присматривалась к приемам, с помощью которых танцовщицы очаровывали толпу, и, наконец, решила, что она красивее их, а потому и играть будет лучше. Она явилась к начальнику мимов и попросила принять ее в труппу. Ее взяли за красоту, а также за все то, чему она научилась у старухи Мерон; она появилась на сцене в роли Дирке.

Успех она имела посредственный, потому что в ней еще сказывалась неопытность, да и зрители еще не были подогреты молвой. Несколько месяцев ее выступления проходили незаметно, но потом могущество ее красоты открылось с такой очевидностью, что город заволновался. Вся Антиохия устремилась в театр. Чиновники империи и виднейшие граждане спешили на представления, подстрекаемые всеобщим восторгом. Носильщики, мусорщики и портовые рабочие отказывали себе в чесноке и хлебе, чтобы купить место в театре. Поэты сочиняли в ее честь эпиграммы. Бородатые философы громили ее в банях и гимназиях; христианские священники, встречая на улицах ее носилки,

отворачивались от нее. Дверь ее дома была украшена цветами и обрызгана кровью. Золото, которое приносили ей любовники, теперь уже перестали считать, а просто отмеривали бочонками, и все сокровища, накопленные бережливыми старцами, стекались, словно реки, к ее ногам. Поэтому душа ее была безмятежна. Преисполненная тихой гордости, Таис радовалась всенародному поклонению и милости богов и, любимая столь многими, любила только самое себя.

После нескольких лет, проведенных среди антиохийцев, которые окружили ее восхищением и любовью, ей захотелось вновь увидеть Александрию и явить свою славу городу, где она ребенком бродила, нищая и отвергнутая, голодная и худая, как кузнечик, скачущий на пыльной дороге. Золотой город принял ее восторженно и осыпал новыми дарами. Ее выступление на театре вызвало триумф. У нее появились бесчисленные почитатели и любовники. Она принимала всех без разбора, потому что уже не надеялась найти нового Аоллия.

В числе многих других она приняла философа Никия, который возгорелся желанием обладать ею, хотя и считал, что надо подавлять в себе все желания. Он был очень богат, но, несмотря на это, был умен и ласков; однако ни тонкость его ума, ни изысканность чувств не очаровали Таис. Она его не любила, а изящная его ирония иной раз даже раздражала ее. Он возмущал ее своим постоянным сомнением. Ведь он ни во что не верил, а она верила во все. Она верила в божественное провидение, во всемогущество злых духов, в колдовство, заклинания, в извечную справедливость. Она верила в Иисуса Христа и в добрую богиню сирийцев; она верила и тому, что суки лают, когда мрачная Геката появляется на перекрестках дорог *,

и что женщина может внушить страсть, налив приворотного зелья в чашу, обернутую окровавленным руном. Она жаждала неведомого; она взывала к существам, не имеющим имени, и жила в постоянном ожидании и тревоге. Будущее страшило ее, и в то же время ей хотелось его узнать. Она окружала себя жрецами Изиды, халдейскими магами, знахарями и кудесниками, которые неизменно обманывали ее, но никогда не надоедали. Она страшилась смерти и всюду видела ее. Когда она уступала вожделению, ей вдруг казалось, что кто-то ледяной рукой касается ее обнаженного плеча, и, вся побледнев, она в объятиях любовника кричала от ужаса.

Никий говорил ей:

— Пусть нам суждено, седым и с ввалившимися щеками, спуститься в вечный мрак, пусть даже нынешний день, сверкающий сейчас в необъятном небе, будет нашим последним днем,— не все ли равно, Таис? Насладимся жизнью. Много чувствовать — значит много жить. Нет иной мудрости, кроме мудрости чувств: любить — значит понимать. То, чего мы не знаем, не существует вообще. Зачем же мучиться из-за того, чего нет?

Она отвечала ему с гневом:

— Я презираю тех, кто вроде тебя ни на что не надеется и ничего не боится. Я хочу знать! Хочу знать!

Чтобы проникнуть в тайну жизни, она взялась было за сочинения философов, но не поняла их. По мере того как годы ее детства уходили в прошлое, она все охотнее мысленно возвращалась к ним. Она любила по вечерам бродить переодетою по переулочкам, площадям и пригородным дорогам, где прошло ее безрадостное детство. Она жалела, что потеряла родителей и особенно что никогда не любила их. При встречах

с христианскими священниками она вспоминала о своем крещении, и это смущало ее. Однажды ночью, завернувшись в длинный плащ и прикрыв белокурые волосы темным капюшоном, она бродила по предместьям и, сама не зная как, очутилась перед бедным храмом Иоанна Крестителя. Изнутри до нее донеслись звуки песнопений, и она увидела ослепительный свет, пробивавшийся сквозь щели в дверях. В этом не было ничего удивительного, потому что уже двадцать лет, как христиане, под покровительством победителя Максенция, открыто справляли свои праздники. А в песнопениях этих слышался страстный призыв к душе. Они словно приглашали танцовщицу на таинства; она толкнула рукою дверь и вошла в храм. Она застала здесь многочисленное собрание — женщин, детей, стариков, коленопреклоненных перед надгробием, которое стояло у стены. Это надгробие представляло собою простую каменную раку с высеченными лозами и кистями винограда; однако ему поклонялись с глубоким благоговением; оно было украшено зелеными пальмовыми ветвями и венками красных роз. Вокруг раки мерцало множество свечей, словно звездочки во мраке, а дым от аравийского ладана стелился, как складки ангельских покрывал. На стенах смутно виднелись фигуры, напоминающие небесные видения. Священники в белых ризах преклоняли колена у подножия саркофага. В псалмах, которые пели хором, говорилось о блаженстве страдания, и в этой торжественной печали слышалось столько радости, смешанной со скорбью, что, внимая песнопениям, Таис почувствовала в своем обновленном сердце одновременно и негу жизни и ужас смерти.

Когда пение кончилось, верующие поднялись и стали по очереди прикладываться к гробнице. То были

простые люди, привыкшие к грубому труду. Они подходили неуклюже, уставившись в одну точку и приоткрыв рот, с простодушным и наивным видом, потом один за другим становились на колени и припадали губами к надгробию. Женщины, подняв детей на руки, осторожно прикладывали к камню их щечки.

Таис была взволнована и удивлена всем этим и спросила у одного из дьяконов, почему они так делают.

— Разве ты не знаешь, женщина,— ответил дьякон,— что сегодня мы чтим присноблаженную память святого Феодора Нубийца, который претерпел крестную муку при императоре Диоклетиане? Он жил как праведник и умер мученической смертью. Поэтому мы, облачившись в белое, украсили его славную могилу красными розами.

При этих словах Таис бросилась на колени и залилась слезами. Полустершееся воспоминание об Ахмесе вновь оживало в ее душе. Сияние свечей, благоухание роз, облака ладана, звуки песнопений, благоговение присутствующих придавали безвестному, милому и скорбному имени неизъяснимое обаяние славы. Потрясенная Таис думала: «Он был скромным человеком, и вот теперь он велик и прекрасен. Каким путем возвысился он над людьми? Что же такое то неведомое, что ценнее богатств и наслаждений?»

Она медленно встала и обратила взгляд к могиле святого, который любил ее; в ее фиалковых глазах при свете огней блестели слезинки; потом, опустив голову, она после всех, смиренно и неторопливо, подошла к гробнице раба и приложилась к ней губами, которые зажгли огонь желания в стольких сердцах.

Вернувшись домой, Таис застала у себя Никия; волосы его были умащены благовониями, туника рас-

стегнута; в ожидании ее он читал трактат о нравственности. Он подошел к ней с распростертыми объятиями.

— Жестокая Таис,— воскликнул он, и в голосе его слышался смех,— ты так долго не возвращалась, а знаешь ли, что я видел в этой рукописи, продиктованной самым суровым из стоиков? Нравственные наставления и возвышенные истины? Нет! На чистом папирусе передо мной плясали тысячи и тысячи крохотных Таис. Каждая из них была всего лишь с мизинец ростом, но изящество их было несказанно, и все они были одною-единственной Таис. На некоторых были пурпурные и золотые плащи, другие словно белое облако реяли в воздухе, окутанные прозрачными покрывалами. Третьи, неподвижные и божественно нагие, не выражали никакой мысли, дабы тем сильнее внушать вожделение. Наконец две из них стояли рука об руку и были так схожи, что нельзя было отличить одну от другой. Обе улыбались. Одна говорила: «Я — любовь». А другая: «Я — смерть».

Он говорил, обнимая Таис, и поэтому не видел ее потупленного, сердитого взгляда; он нанизывал мысль на мысль, не замечая, что они пропадают зря.

— Да, когда у меня перед глазами была строка, где говорится: «Пусть ничто не отвлекает тебя от забот о душе», я читал: «Поцелуи Таис горячее пламени и слаще меда». Вот, злая девочка, как по твоей вине понимает теперь философ труды философов. Правда, все мы без исключения в мысли другого открываем только нашу собственную мысль и, пожалуй, всегда читаем книги так, как я читал сейчас эту...

Таис не слушала его, и душа ее была далеко, возле гробницы нубийца. Она вздохнула, а Никий поцеловал ее в затылок, сказав:

— Не грусти, дитя мое. Мы счастливы в мире только когда забываем мир. А как этого достигнуть — нам с тобою известно. Пойдем обманем жизнь; она в долгу не остается. Пойдем! Будем любить друг друга.

Но Таис оттолкнула его.

— Любить друг друга! — горько воскликнула она.— Да ведь ты никогда никого не любил. И я тебя не люблю. Нет! Я не люблю тебя. Я тебя ненавижу. Уходи! Я ненавижу тебя. Я ненавижу и презираю всех счастливых и всех богачей. Уходи! Уходи!.. Добрыми бывают только несчастные. Когда я была ребенком, я знала одного черного раба, который умер на кресте. Он был добрый, душа его полнилась любовью, и он владел тайною жизни. Ты недостоин был бы даже омыть ему ноги. Ступай. Я не хочу тебя больше видеть.

Она бросилась ничком на ковер и провела ночь в слезах, решив отныне жить, как святой Феодор, в бедности и смирении.

На другой день она вновь окунулась в обычные развлечения. Она знала, что ее красота, сейчас еще цветущая, сохранится недолго, и поэтому торопилась извлечь из нее всю возможную радость и всю славу. На театре, к которому она готовилась с бо̀льшим тщанием, чем когда-либо, она казалась живым воплощением мечты ваятелей, живописцев и поэтов. Видя во внешности, в движениях, в походке актрисы образ божественной гармонии, правящей мирами, ученые и философы громко восхваляли это безупречное совершенство и говорили: «Таис тоже своего рода геометр!» А люди темные, бедняки, отверженные, забитые, когда она соглашалась выступить перед ними, благословляли ее за это, как за небесную милость. И все же, несмотря на нескончаемые хвалы, она была печальна и больше чем когда-либо страшилась смерти. Ничто не в силах

было отвлечь ее от этой тревоги, даже роскошный дом ее и прославленные сады, о которых так много толковали в городе.

Она посадила в них деревья, привезенные за большие деньги из Индии и Персии. Их орошал, журча, прозрачный источник, а в озере отражались статуи и руины колоннады, а также дикие утесы, сооруженные искусным архитектором. Посреди сада возвышался грот Нимф, обязанный своим названием трем превосходно раскрашенным мраморным статуям, стоящим у входа в грот. Нимфы снимали с себя одежды, собираясь купаться. Они боязливо озирались вокруг, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не увидел их, и казались совсем живыми. Свет проникал в этот укромный уголок сквозь тонкую водяную завесу, которая смягчала его и расцвечивала всеми оттенками радуги. Все стены были, словно в священной пещере, увешаны венками, гирляндами и культовыми картинами, прославлявшими красоту Таис. Висели тут также трагические и комические маски, раскрашенные яркими красками, рисунки, изображавшие то сцену из театрального представления, то некие причудливые фигуры, то диковинных зверей. Посреди грота стоял постамент с маленьким Эротом из слоновой кости, чудесной старинной работы. Это был подарок Никия. В углублении виднелась черная мраморная козочка с блестящими агатовыми глазами. Шесть алебастровых козлят жались возле ее сосцов, но она подняла копытца и вскинула курносую мордочку, как бы торопясь вскарабкаться на скалы. На полу были постланы византийские ковры, подушки, расшитые желтолицыми обитателями Катхеи, и шкуры ливийских львов. В золотых курильницах еле заметно тлели благоухания. Тут и там в больших ониксовых вазах стояли цветущие ветки

персикового дерева. А в самой глубине, в тени и пурпуре, поблескивали золотые гвоздики на опрокинутом панцире гигантской индийской черепахи, который служил Таис ложем. Здесь под рокот воды, среди цветов и благовоний она каждый день лежала, нежась в ожидании часа, когда подадут ужин, беседовала с друзьями либо в одиночестве размышляла об искусстве театра или о беге времени.

Так и в этот день она после представления отдыхала в гроте Нимф. Она разглядывала в зеркале первые признаки увядания своей красоты и с ужасом думала о том, что в конце концов все же настанет время, когда волосы ее поседеют, а лицо покроется морщинами. Тщетно старалась она отогнать эти мысли, твердя себе, что свежий цвет лица нетрудно восстановить — стоит только сжечь некие целебные травы и произнести при этом магические заклинания. Неумолимый голос кричал ей: «Ты состаришься, Таис! Состаришься!» От ужаса на лбу ее выступили капли ледяного пота. Затем она снова с бесконечной нежностью вгляделась в свое отражение и убедилась, что все еще хороша и достойна любви. Она улыбалась самой себе и шептала: «Во всей Александрии не найдется женщины, которая могла бы сравняться со мной гибкостью стана, изяществом движений и великолепием рук. А руки, о зеркальце, руки — это воистину цепи любви».

Она была занята этими думами, как вдруг увидела перед собою незнакомца — худого, с горящим взглядом, спутанной бородой и в богато расшитом одеянии. От испуга она вскрикнула и выронила зеркальце из рук.

Пафнутий стоял неподвижно и, дивясь ее красоте, в глубине сердца молился: «Сделай так, о господи, чтобы лицо этой женщины не только не совратило твоего служителя, но помогло ему укрепиться в добродетели».

Потом сказал с усилием:

— Таис, я живу далеко, но молва о твоей красоте привела меня к тебе. Говорят, будто ты самая искусная среди лицедеек и самая обольстительная среди женщин. То, что передают о твоих богатствах и твоих любовных утехах, звучит как сказка и напоминает древнюю Родопу *, чудесную историю которой знают наизусть все нильские лодочники. Поэтому-то мне и захотелось увидеть тебя, и ныне я убеждаюсь, что действительность превосходит молву. Ты в тысячу раз мудрее и прекраснее, чем говорят. И, видя тебя, я думаю: «Невозможно приблизиться к ней и не пошатнуться, как шатается хмельной».

Эти слова были притворством, но монах, воодушевленный благочестивым рвением, произнес их с подлинным жаром. Тем временем Таис с любопытством разглядывала странного незнакомца, так напугавшего ее. Своим суровым и диким видом, мрачным огнем, горевшим в его тяжелом взгляде, Пафнутий поразил ее. Ей хотелось узнать о жизни и положении человека, столь непохожего на окружающих ее людей. Она ему ответила с легкой насмешкой:

— Ты, кажется, щедр на восторги, чужестранец. Берегись, как бы мой взор не испепелил тебя. Берегись, как бы не влюбиться!

Он же сказал:

— Я люблю тебя, Таис. Я люблю тебя больше жизни и больше, чем самого себя. Ради тебя я покинул пустыню; ради тебя мои уста, давшие обет молчания, произнесли нечестивые слова; ради тебя я увидел то, чего не должен был видеть, услышал то, что мне слышать запрещено; ради тебя душа моя смутилась, сердце разверзлось и из него хлынули мысли, подобно живому источнику, из которого пьют голубки; ради тебя

я днями и ночами шел по пустыне, кишащей ларвами и вампирами; ради тебя я босыми ногами ступал по змеям и скорпионам. Да, я люблю тебя. Я люблю тебя не так, как любят мужчины, охваченные плотским вожделением; они приходят к тебе, уподобившись кровожадным волкам или разъярившись, словно быки. Им ты дорога, как газель льву. Их плотоядная любовь, о женщина, растлевает и тело твое и душу. Я же люблю тебя в духе и истине, люблю тебя в боге и на веки веков; то, что пылает в моем сердце,— истинная любовь и божественное милосердие. Я обещаю тебе нечто большее, чем любовное упоение, чем сны быстротечной ночи. Я обещаю тебе непорочные пиршества и небесное венчание. Блаженству, которое я несу тебе, нет конца: оно безмерно, оно несказанно, и если бы земные счастливцы могли увидеть мельком хотя бы тень его, они тотчас же умерли бы от изумления.

Таис задорно смеялась.

— Яви же мне эту чудесную любовь, друг мой,— сказала она.— Не мешкай! Чересчур длинные речи оскорбительны для моей красоты; не будем терять ни мгновенья. Мне не терпится отведать блаженства, о котором ты возвещаешь, но, откровенно говоря, я боюсь, что так и не узнаю этой любви и что все твои обещания — лишь пустые слова. Великое счастье легче посулить, чем дать. У каждого свой дар, и вот мне кажется, что ты наделен даром рассуждать. Ты говоришь о какой-то неизведанной любви. Люди так давно познали сладость поцелуя, что мало вероятно, чтобы в любви остались еще какие-нибудь тайны. На этот счет влюбленные знают больше мудрецов.

— Таис, не издевайся. Я несу тебе неведомую любовь.

— Друг мой, ты опоздал. Мие ведомы все виды любви.

— Любовь, которую я иесу тебе, сияет в лучах славы, в то время как любовь, зиакомая тебе, порождает лишь стыд.

Таис бросила на иего мрачный взгляд, жесткая складочка пересекла ее иизкий лоб:

— Ты дерзкий человек, чужестраиец, раз позволяешь себе оскорблять хозяйку дома, в котором иаходишься. Взгляии иа меия и скажи: разве я похожа иа тварь, покрытую позором? Нет, мие иечего стыдиться, и все жеищиины, живущие как я, тоже ие зиают стыда, хоть оии далеко ие так прекрасиы и богаты, как я. Я вызывала сладострастие всюду, где только ступала моя иога, и этим я и прославилась иа весь свет. Я могуществеииее владык мира. Я видела их у своих иог. Взгляни иа меия, взгляии иа эти иоги: тысячи мужчии пожертвовали бы жизиью за счастье поцеловать их. Я ие так-то высока ростом и заиимаю в мире ие миого места. Тем, кто видит меия с высоты Серапея, когда я иду по улице, я представляюсь зериышком риса; ио это зериышко породило столько горя, отчаяиия, иеиависти и преступлеиий, что ими можио заполиить весь Тартар. Ты что же, сошел с ума, что толкуешь мие о позоре, в то время как все вокруг прославляют меия?

— То, что в глазах людей слава, для бога бесчестье. О жеищииа, мы с тобою вскормлеиы в чуждых друг другу мирах, и поэтому ие удивительио, что мы говорим иа разиых языках и думаем по-разиому. И все же,— иебо мие свидетель,— я хочу, чтобы мы поияли друг друга, и ие покиию тебя до тех пор, пока в иас ие загорятся одииаковые чувства. Кто виушит мие, о жеищиия, огиеииые речи, чтобы ты растаяла от моего дыхаиия, словио воск, чтобы персты мои

могли вылепить тебя по моему хотению? Какая благодать покорит тебя мне, о возлюбленная душа, дабы дух, ведущий меня, создал тебя вторично и наделил тебя новою красотою, и ты бы воскликнула, обливаясь слезами радости: «Только сегодня родилась я на свет!» Кто обратит мое сердце в купель силоамскую *, дабы, окунувшись в оную, ты вновь обрела изначальную свою чистоту? Кто уподобит меня Иордану, воды которого, омыв тебя, даруют тебе жизнь вечную?

Таис уже не сердилась.

«Этот человек,— думала она,— говорит о вечной жизни, и его слова точно начертаны на талисмане. Он, как видно, мудрец и знает тайные средства против старости и смерти».

И она решила отдаться ему. Поэтому она притворилась, будто робеет, и отошла на несколько шагов в глубь грота; там она села на ложе, искусно спустила с плеч тунику и, замерев, не произнося ни слова, полузакрыв глаза, стала ждать. От длинных ресниц на ее щеки ложилась нежная тень. Весь ее облик выражал стыдливость; ноги ее плавно покачивались, и она похожа была на девочку, сидящую в раздумье на берегу реки.

Но Пафнутий смотрел на нее и не сходил с места. Колена его дрожали и подкашивались, язык прилип к гортани, в голове шумело. Вдруг глаза его заволокло туманом, он уже ничего не видел перед собою, кроме густого облака. Он подумал, что это рука Христова опустилась на его глаза, чтобы заслонить от него эту женщину. Ободренный такою помощью, укрепленный, поддержанный, он сказал сурово, как и подобало старцу-пустыннику:

— Ты воображаешь, будто, отдавшись мне, скроешься от взора божьего?

Она покачала головой.

— Бог! Кто его заставляет неотступно следить за гротом Нимф? Пусть отвернется, если мы его оскорбляем. Но чем мы его оскорбляем? Раз он нас сотворил, ему нечего ни гневаться, ни удивляться, что мы такие, какими он нас создал, и поступаем в соответствии с природой, какою он нас наделил. Слишком уж много говорят от его лица и нередко приписывают ему такие мысли, каких у него вовсе и нет. Ты-то сам, чужестранец, хорошо ли знаешь его истинный нрав? Кто ты такой, чтобы говорить от его имени?

В ответ на это монах распахнул на себе одежду, взятую у Никия, и, открыв власяницу, сказал:

— Я Пафнутий, антинойский настоятель, и пришел я из священной пустыни. Рука, которая вывела Авраама из Халдеи и Лота из Содома *, отторгнула меня от всего мирского. Для людей я уже перестал существовать. Но лицо твое явилось мне среди песков, в моем Иерусалиме, и я узнал, что ты погрязла в пороках и что в тебе таится смерть. И вот я стою пред тобою, женщина, как перед гробом и говорю тебе: «Таис, восстань!»

При словах: «Пафнутий, монах, настоятель» — Таис побледнела от ужаса. И в тот же миг она, сложив руки, плача и стеная, с распущенными волосами, припала к стопам святого:

— Не причиняй мне зла! Зачем ты пришел? Что тебе от меня надо? Не причиняй мне зла. Я знаю, что святые пустынники ненавидят женщин, которые, как я, созданы, чтобы обольщать. Я боюсь, что ты ненавидишь меня и хочешь причинить мне вред. Полно! Я и так верю, что ты всемогущ... Но знай, Пафнутий, не следует ни презирать, ни проклинать меня. Я никогда не смеялась над обетом бедности, который ты дал, как смеются многие из окружающих меня. Поэтому и ты

не считай преступлением мое богатство. Я красива и искусна в играх. Я не сама выбирала свое ремесло и свою красоту. Я была создана для того, чем я занимаюсь. Я рождена пленять мужчин. Ты сам только что говорил, что любишь меня. Не пользуйся же своей ученостью мне во вред. Не произноси заклинаний, которые уничтожат мою красоту или обратят меня в соляной столб. Не пугай меня! Я и без того уже трепещу! Не лишай меня жизни! Я так боюсь смерти!

Он знаком велел ей подняться и сказал:

— Успокойся, дитя. Я не обижу тебя хулой и презрением. Я пришел к тебе от того, кто, присев у колодца, испил воды из кувшина, поданного ему самаритянкой *, от того, кто за трапезой в доме Симона принял благовония, которые принесла ему Мария. Я и сам не безгрешен, и не я первый брошу в тебя камень. Нередко я дурно пользовался щедротами, дарованными мне господом. Не гнев, а сострадание взяло меня за руку, чтобы привести сюда. Я не лгал, приветствуя тебя словами любви, ибо вожатый мой — сердечное рвение. Я горю огнем милосердия, и если бы твои глаза, привыкшие к грубым плотским зрелищам, могли проникать в сокровенную сущность вещей, я предстал бы тебе как ветвь, отломленная от неопалимой купины *, которую господь некогда явил на горе Моисею, дабы он постиг, что такое истинная любовь — та любовь, которая горит в нас, но не сжигает и не только не оставляет после себя пепла и жалкого праха, но навеки пропитывает душу благоуханием и усладой.

— Я верю тебе, монах, и уже не боюсь, что ты сглазишь меня или причинишь мне вред. Мне не раз доводилось слышать о фиваидских отшельниках. Много чудесного рассказывают о жизни Антония и Павла. Твое имя мне тоже знакомо, и я слыхала, будто ты еще

в молодых годах был равен добродетелью самым престарелым пустынникам. Едва увидев тебя и даже еще не зная, кто ты такой, я почувствовала, что ты человек необыкновенный. Скажи мне, в силах ли ты сделать для меня то, чего не могли совершить ни жрецы Изиды, ни служители Гермеса и божественной Юноны, ни халдейские прорицатели, ни вавилонские маги? Монах! Раз ты меня любишь, можешь ты сделать так, чтобы я не умерла?

— Женщина! Тот, кто хочет жить, будет жить. Беги от гнусных наслаждений, в которых ты гибнешь навеки. Из рук демонов, готовых ввергнуть тебя в адское пламя, вырви тело, которое сам господь создал из праха земного и одухотворил своим дыханием. Ты изнемогаешь от усталости, так приди же и освежись в благодатном источнике одиночества; приди и утоли жажду из родников, таящихся в пустыне и вздымающих свои струи до самых небес. Душа, объятая тоской! Приди и завладей тем, чего ты желала! Сердце, взыскующее радости, спеши насладиться радостями истинными: нищетой, самоотречением, забвением самой себя; предайся всем существом в лоно господне. Противница Христа, приди к нему — и ты станешь его возлюбленной. Приди, томящаяся, и ты скажешь: «Я обрела любовь».

Тем временем Таис, казалось, смотрела куда-то вдаль.

— Монах,— спросила она,— если я отрекусь от земных радостей и покаюсь, правда ли, что я воскресну на небе и сохраню нетленным свое тело во всей его красе?

— Таис, я несу тебе жизнь вечную. Верь мне, ибо то, о чем я благовещу,— истина.

— А кто мне поручится, что это истина?

— Давид и пророки, Писание и чудеса, которые ты увидишь воочию.

— Мне хотелось бы тебе верить, монах. Ибо, сознаюсь тебе, я не нашла счастья в мире. Удел мой прекраснее удела царицы, и, однако, жизнь принесла мне много огорчений, много печали, я безмерно устала. Все женщины завидуют моей судьбе, а мне иной раз случается завидовать участи беззубой старухи, которая в дни моего детства торговала медовыми лепешками у городских ворот. Мне часто-часто приходит в голову мысль, что только нищие добры, счастливы, благословенны и что великая радость — жить в бедности и смирении. Монах, ты возмутил глубины моей души и вызвал на ее поверхность то, что дремало на самом дне. Увы, кому же верить? И как быть? И что такое жизнь?

Пока она говорила, Пафнутий преобразился: лицо его озарилось неземной радостью.

— Слушай,— сказал он.— Я вошел в твой дом не один. Другой сопутствует мне, другой, стоящий здесь, возле меня. Его ты не можешь видеть, потому что глаза твои еще недостойны его созерцать, но скоро ты его увидишь во всем его неизъяснимом великолепии и скажешь: «Он один достоин любви». Вот и сейчас, Таис, если бы он не приложил ласковую руку к моим глазам, я, пожалуй, впал бы в грех вместе с тобою, ибо сам по себе я слаб и беспомощен. Но он спас нас обоих; доброта его так же беспредельна, как и его могущество, и имя ему — Спаситель. О пришествии его возвестили миру Давид и Сивилла *, ему еще в колыбели поклонялись пастухи и волхвы, потом его распяли фарисеи, погребли благочестивые женщины, его учение проповедовали апостолы, восславили мученики. И вот, узнав, что ты страшишься смерти, он грядет к тебе, о женщина, чтобы избавить тебя от нее. Не правда ли, возлюбленный Иисусе, ты являешься мне в этот миг,

как явился людям земли галилейской в те чудесные дни, когда звезды, спустившись к тебе с небес, настолько приблизились к земле, что невинные младенцы, играя на руках матерей, на кровлях вифлеемских, могли их доставать ручонками? Не правда ли, возлюбленный Иисусе, ты сейчас с нами и являешь мне воочию свое драгоценное тело? Не правда ли, вот лик твой, а слеза, стекающая по твоей щеке,— настоящая слеза? Да, ангел небесного правосудия примет эту слезу, и она станет выкупом за душу Таис. Не правда ли, ты здесь, возлюбленный Иисусе? Иисусе, сладчайшие уста твои приоткрываются. Говори же, говори, я внемлю тебе. А ты, Таис, счастливица, внимай тому, что̀ говорит тебе сам Спаситель. Ибо это не я, а он вещает тебе. Он говорит: «Я долго искал тебя, о заблудшая моя овечка! Наконец я тебя нашел. Не уходи от меня больше. Дай мне взять тебя на руки, бедняжка, и я отнесу тебя в небесную овчарню. Приди, моя Таис, приди, моя избранница, приди и плачь вместе со мною».

И Пафнутий бросился на колени; глаза его горели восторгом. Тут Таис увидела на лице праведника отсвет живого Христа.

— О невозвратные дни моего детства! — воскликнула она, рыдая.— О добрый мой отец Ахмес, добрый святой Феодор, зачем не умерла я под покровом твоего белого плаща, когда ты нес меня при первых лучах зари, только что омытую водою крещения!

Пафнутий устремился к ней, восклицая:

— Ты крещена? О божественная премудрость! О провидение! О боже всеблагой! Теперь я понимаю, что за сила влекла меня к тебе! Теперь я знаю, почему ты была мне так дорога и казалась столь прекрасной. Это сила таинства крещения извлекла меня из-под сени

господней, под которой я жил, дабы я отыскал тебя там, где смердит мерзость мирская. Нет сомнения, что крохотная капля, одна-единственная капля воды, омывшей твое тело, упала на мое чело. Приди, возлюбленная сестра, и прими от брата твоего лобзание мира.

И монах губами коснулся чела куртизанки.

Потом он умолк, предоставив говорить самому богу, и теперь в гроте Нимф слышались только рыдания Таис, которым вторило журчание родника.

Она плакала, не утирая слез; тем временем пришли две черные рабыни с одеждами, благовониями и гирляндами в руках.

— А ведь сейчас не время плакать,— промолвила Таис, силясь улыбнуться.— От слез краснеют глаза и тускнеет румянец. Сегодня я ужинаю в кругу друзей и хочу быть красивой, потому что там будут женщины, а они со злорадством подметят на моем лице следы усталости. Рабыни пришли, чтобы одеть меня. Уйди отсюда, отец мой, и не мешай им. Они ловкие и умелые и обошлись мне очень дорого. Посмотри вон на ту, у которой широкие золотые запястья и на редкость белые зубы. Я перехватила ее у жены проконсула.

Первою мыслью Пафнутия было всеми силами воспротивиться тому, чтобы Таис отправилась на пир. Но решив действовать осмотрительно, он только спросил, кого она там встретит.

Таис ответила, что там, кроме хозяина, старика Котты, начальствующего над флотом, будет Никий и еще несколько философов, любителей поспорить, а также поэт Калликрат и главный жрец Сераписа, будут богатые молодые люди, занятые главным образом объездкой лошадей, наконец будет несколько женщин, о которых нечего сказать, ибо единственное преимущество их — молодость.

Тогда монах, осененный свыше, сказал:

— Иди к ним, Таис! Иди! Но я не покину тебя. Я пойду вместе с тобою на пир и молча возлягу возле тебя.

Она расхохоталась. Черные рабыни уже суетились вокруг нее, и Таис воскликнула:

— Что же они скажут, когда увидят, что у меня в любовниках фиваидский отшельник?

ПИР

Когда Таис в сопровождении Пафнутия вошла в пиршественный зал, большинство приглашенных уже возлежало за столом, сооруженным в форме подковы и уставленным сверкающей посудой. В середине стола возвышался серебряный сосуд с вареной рыбой; сосуд был украшен четырьмя фигурами сатиров, которые держали в руках бурдюки и поливали рыбу рассолом. При появлении Таис со всех сторон раздались возгласы:

— Привет сестре Харит!

— Привет безмолвной Мельпомене *, умеющей все выразить взором!

— Привет любимице богов и людей!

— Желанной!

— Дарующей и страдание и исцеление!

— Ракотидской жемчужине!

— Александрийской розе!

Она нетерпеливо выждала, когда иссякнут приветствия, потом обратилась к хозяину дома:

— Люций, я привела к тебе монаха из пустыни, антинойского настоятеля Пафнутия; это великий праведник, его слова жгут как пламя.

Люций-Аврелий Котта, начальник флота, поднялся из-за стола:

— Добро пожаловать, Пафнутий, проповедник христианской веры. Я и сам отношусь не без уважения к культу, отныне ставшему государственным. Божественный Константин возвел твоих единоверцев в первые ряды друзей империи *. Действительно, римская мудрость не могла не допустить твоего Христа в наш Пантеон. Наши предки утверждали, что в любом боге есть нечто божественное. Но оставим это. Давайте пить и веселиться, пока еще не поздно.

Старый Котта был весел и безмятежен. Он только что осмотрел новый образец галеры и закончил шестую книгу своей истории карфагенян. Он чувствовал, что день прошел не зря, и поэтому был доволен и самим собою и богами.

— Пафнутий,— сказал он,— пред тобою несколько человек, вполне достойных уважения и любви: Гермодор, великий жрец Сераписа, философы Дорион, Никий и Зенофемид, поэт Калликрат, юный Кереас и юный Аристобул — сыновья друга моей молодости, дорогого моему сердцу, а возле них — Филина с Дрозеей, достойные всяческой похвалы за свою красоту.

Никий, подойдя к Пафнутию, обнял его и сказал тихонько:

— Ведь говорил же я тебе, брат мой, что Венера всесильна. Ты пришел сюда вопреки своему желанию,— и в этом сказалось ее ласковое насилие. Ты человек, преисполненный благочестия, однако согласись, что она — матерь всех богов, иначе ты неизбежно потерпишь поражение. Знай, что старик Меланфий, математик, всегда твердит: «Без помощи Венеры я не мог бы доказать свойств треугольника».

Дорион пристально всматривался во вновь пришедшего, потом вдруг захлопал в ладоши и восторженно закричал:

— Это он, друзья мои! Его глаза, его борода, туника! Это он самый! Я встретил его в театре, когда наша Таис чаровала зрителей своими несравненными руками. Он пришел в ярость и, могу вас заверить, неистово разглагольствовал. Этот достойный человек сейчас всех нас разгромит. Он наделен грозным красноречием. Если Марк — христианский Платон, то Пафнутий — христианский Демосфен *. Эпикур в своем саду * никогда не слышал ничего подобного.

Тем временем Филина и Дрозея глазами пожирали Таис. Ее белокурую головку обвивал венок из бледно-лиловых фиалок, и каждый цветочек, хоть и был немного светлее, напоминал цвет ее глаз, так что фиалки казались померкшими взглядами, а глаза — яркими фиалками. Таков был дар этой женщины: на ней все оживало, все гармонировало и одухотворялось. От ее лиловато-розового платья, расшитого серебром и ниспадавшего длинными складками, веяло каким-то особым, грустным изяществом; на ней не было ни запястий, ни ожерелий, и единственным ее украшением были великолепные, доверху обнаженные руки. Филина и Дрозея невольно залюбовались нарядом и прической подруги, однако ни слова не сказали ей об этом.

— Как ты хороша! — молвила, наконец, Филина.— Ты не могла быть красивее, когда приехала в Александрию. А между тем моя мать еще помнила, какой ты была в те годы, и она говорила, что не многие женщины могли бы сравниться с тобою.

— Но кто ж этот новый возлюбленный, которого ты привела к нам? — спросила Дрозея.— У него странный и дикий вид. Если бы существовали пастухи сло-

нов, онн, вероятно, былн бы похожн на него. Где ты вынскала, Танс, такого дикаря? Уж не средн ли троглодитов, что живут под землей и насквозь прокоптнлнсь в дыму Анда?

Но Филниа прнложила пальчнк ко рту подругн:

— Замолчн! Тайны любвн неприкосновенны, знать нх запрещено. Правда, сама я предпочла бы, чтобы меня косиулось пламя дымящейся Этны, чем губы этого человека. Но наша иежная Танс, прекрасная н почнтаемая, как богнни, должна, как богнни, внимать всем молениям, а не только мольбам прнвлекательных мужчин, как делаем мы.

— Берегнтесь, Филнна н Дрозея! — отвечала Таис.— Это волшебннк н чародей. Он слышит даже то, что говорится шепотом, он читает в мыслях. Когда вы будете спать, он вырвет у вас сердце и заменнт его губкой, а на другой день вы захлебнетесь от первого же глотка воды.

Увндев, что подруги побледнелн, Танс повернулась к ним спнной н возлегла на ложе рядом с Пафиутием. Вдруг властный н приветлнвый голос Котты возвыснлся над общнм гулом и прервал непринужденную беседу гостей:

— Друзья, пусть каждый займет свое место. Рабы, налейте медового вина!

Затем хозяин поднял кубок:

— Выпьем прежде всего за божественного Констанция н за геннй нмперии. Отчизна превыше всего, даже превыше богов, ибо она заключает в себе нх всех.

Гости поднесли к губам наполненные кубкн. Один только Пафнутнй не стал пнть потому, что Констанций преследовал ннкейскую веру *, а также потому, что отчнзна хрнстианина не от мира сего.

Дорнон, осушнв кубок, прошептал:

— Что такое отчизна? Текущая река. Берега ее изменчивы, а воды в ней беспрестанно обновляются.

— Я знаю, Дорион,— возразил начальник флота,— что ты мало ценишь гражданские добродетели и считаешь, что мудрец должен чуждаться дел. Я же полагаю, наоборот, что честный человек должен больше всего стремиться к тому, чтобы занять в государстве высшие должности. Государство — прекрасное установление!

Гермодор, великий жрец Сераписа, сказал:

— Дорион спрашивает: что есть отчизна? Я отвечу ему. Отчизна — это алтари богов и могилы предков. Мы сознаем себя согражданами потому, что нас объединяет общность воспоминаний и надежд.

Молодой Аристобул прервал Гермодора:

— Клянусь Кастором, сегодня я видел прекрасного коня *. Это конь Демофона. У него сухая голова, маленькие скулы и широкая грудь. Голову он несет высоко и горделиво, как петух.

Но юный Кереас покачал головой:

— Не так уж он хорош, как ты говоришь, Аристобул. Копыто у него хрупкое, бабки провисшие, и он скоро падет на ноги.

Они заспорили, а Дрозея вдруг пронзительно вскричала:

— Ой! Я чуть было не подавилась косточкой — длинной и острой, как стилет. К счастью, мне удалось ее вытащить! Боги любят меня!

— Любезная Дрозея, ты, кажется, сказала, что тебя любят боги? — спросил с улыбкой Никий.— Значит, им свойственны те же слабости, что и людям. Любовь овладевает только теми, кто чувствует свою духовную нищету. Именно любовь свидетельствует

о слабости человека. Любовь, которую питают боги к Дрозее,— яркое доказательство их несовершенства.

Слова философа сильно разгневали Дрозею:

— То, что ты говоришь, Никий,— глупо и ни с чем не сообразно. Впрочем, тебе свойственно не понимать того, что говорят, и на все отвечать бессмысленными рассуждениями.

Никий по-прежнему улыбался:

— Говори, говори, прелестная Дрозея; что бы ты ни сказала, нельзя тобою не любоваться, стоит тебе открыть ротик — у тебя такие ослепительные зубки.

В это время в залу не торопясь вошел степенный старик, небрежно одетый, с высоко поднятой головой, и обвел присутствующих спокойным взглядом. Котта знаком пригласил его занять место рядом с собою, на хозяйском ложе.

— Добро пожаловать, Евкрит,— сказал он вошедшему.— Сочинил ли ты в нынешнем месяце какой-нибудь новый философский трактат? Это, если не ошибаюсь, уже девяносто вторая твоя работа, написанная нильским тростником, которым ты владеешь с чисто аттическим изяществом.

Евкрит отвечал, поглаживая серебристую бороду:

— Соловей создан, чтобы петь, а я создан, чтобы славить бессмертных богов.

Дорион

Благоговейно склоним головы перед последним стоиком *. Величественный и седовласый, он возвышается среди нас, как образ наших праотцев. В толпе современников он одинок, и слов, которые он произносит, никому не дано понять.

Евкрит

Ты заблуждаешься, Дорион. Философия добродетели еще не умерла в этом мире. У меня немало учеников в Александрии, Риме и Константинополе. Многие среди рабов и среди потомков цезарей еще умеют властвовать над собою, жить свободными и находить в отречении от земных благ безграничное блаженство. Многие воспитывают в себе дух Эпиктета и Марка Аврелия*. Но, если бы оказалось, что добродетель действительно навеки угасла на земле, разве утрата ее омрачила бы мое счастье, раз не от меня зависит, процветать ей или погибнуть? Только безумцы, Дорион, ищут счастья в том, что не подвластно их воле. Я не хочу ничего иного, кроме того, чего желают боги, и желаю всего, чего желают они. Тем самым я уподобляюсь им и приобщаюсь к их неизменному благоденствию. Если добродетель погибает, я соглашаюсь на то, чтобы она погибла, и это согласие преисполняет меня радостью как высшее проявление моего разума и мужества. Что ни случись, моя мудрость всегда будет вторить мудрости богов, а такое подражание ценнее самого оригинала: оно стоит бо́льших забот и усилий.

Никий

Понимаю. Ты присоединяешься к божественному провидению, Евкрит. Но если добродетель заключается только в усилии и в стремлении, которые дают ученикам Зенона повод уподоблять себя богам, значит лягушка, которая надувается, чтобы стать толстой, как вол, являет высший образец стоицизма.

Евкрит

Ты шутишь, Никий, и по обыкновению насмешничаешь. Но если вол, о котором ты говоришь, в самом деле бог, подобно Апису и тому подземному быку *, жреца которого я здесь вижу, и если лягушка, вдохновленная мудростью, достигнет его объема — не будет ли она действительно добродетельнее вола, и неужели в тебе не вызовет восхищения это героическое маленькое существо?

Четыре прислужника подали на стол вепря, еще покрытого щетиной. Выпеченные из теста поросята жались к его брюху, как бы ища сосков, и по этому можно было заключить, что это самка.

Зенофемид сказал, указывая на монаха:

— Друзья! Один из присутствующих пожаловал сам, дабы разделить нашу трапезу. Знаменитый Пафнутий, ведущий в уединении подвижническую жизнь, стал нашим нечаянным гостем.

Котта

Лучше сказать так, Зенофемид: раз он пришел без зова, ему принадлежит первое место.

Зенофемид

Поэтому, любезный Люций, мы должны принять его особенно дружелюбно и подумать о том, чем бы его порадовать. А такой человек, конечно, менее чувствителен к запаху жаркого, чем к благоуханию возвышенных мыслей. Мы несомненно угодим

ему, если заведем беседу о вере, которую он исповедует,— о вере распятого Христа. Я сам приму участие в такой беседе тем охотнее, что вероучение это живо интересует меня, ибо в нем заключено множество самых разнообразных аллегорий. Если распознать смысл, скрытый за словами, то окажется, что учение это изобилует истинами, и мне думается, что книги христиан полны божественных откровений. Но я не могу, Пафнутий, так же высоко ценить книги иудеев. Их книги вдохновлены не божьим духом, как они утверждают, а неким злым гением. Иегова, продиктовавший их, был одним из тех духов, что живут в нижнем небе и причиняют нам больше всего мук и страданий, но он всех их превзошел невежеством и жестокостью. Зато златокрылый змий *, обвившийся лазоревой лентой вокруг древа познания, был, наоборот, преисполнен света и любви. Следовательно, борьба между этими двумя силами, одной — лучезарной, другой — сумрачной, была неизбежна. И она разгорелась в первые же дни мира. Бог почил от дел своих, Адам и Ева — первый мужчина и первая женщина — пребывали, блаженные и нагие, в райском саду, а Иегова, на их несчастье, уже возымел намерение управлять ими, равно как и будущими поколениями, которые Ева уже несла в великолепном лоне своем. Он не располагал ни циркулем, ни лирой и был совершенно чужд знанию, при помощи которого можно повелевать, и искусству, которое умеет убеждать; поэтому он только пугал эти два бедные создания чудовищными видениями, сумасбродными угрозами и раскатами грома. Адам и Ева ощущали над собою его зловещую тень, ближе жались друг к дружке, и любовь их от страха разгоралась еще жарче. Змий сжалился над ними и решил

их просветить, дабы они, обладая знанием, не поддавались обману. Замысел змия требовал крайней осторожности, а слабость первой четы делала его почти безнадежным. Доброжелательный дух все же решил попытаться его осуществить. Втайне от Иеговы, который мнил, что видит всё, а на самом деле отнюдь не обладал острым зрением, он приблизился к этим двум существам, пленяя их взоры великолепием своей брони и сиянием крыльев. Затем он прельстил их ум, придав своему телу форму точных фигур, как-то: круга, эллипса и спирали, чудесные свойства которых позднее были открыты греками. Адам легче Евы вникал в особенности этих фигур. Однако, когда змий, заговорив, стал поучать их более возвышенным истинам — тем, что не поддаются доказательству,— он понял, что Адам, созданный из красной глины, по природе своей чересчур груб для усвоения столь утонченных знаний, зато Ева, более чувствительная и нежная, воспринимает их без труда. Поэтому он стал говорить с нею наедине, в отсутствие мужа, чтобы она первая приобщилась...

Дорион

Позволь, Зенофемид, прервать тебя. В мифе, который ты нам излагаешь, я сразу узнал один из эпизодов борьбы Афины Паллады с великанами. Иегова очень похож на Тифона, а Палладу афиняне всегда изображают со змеей *. Но то, что ты сейчас рассказал, вдруг зародило во мне сомнение в уме или в честности змия, о котором ты говоришь. Если он действительно обладал мудростью, неужели он бы ее доверил самочке, головка которой не может ее вместить? Мне кажется

правдоподобнее, что змий, как и Иегова, был невежда и обманщик и выбрал он Еву только потому, что ее легче было совратить, в то время как Адам представлялся ему умнее и рассудительнее.

Зенофемид

Знай, Дорион, что не умом и рассудительностью, а именно чувством постигаются самые возвышенные и чистые истины. Поэтому-то женщины, не столь разумные, как мужчины, зато более чуткие, легче возвышаются до познания божественных истин. В них заложен дар ясновидения, и не зря иной раз изображают Аполлона Кифареда и Иисуса Назарея одетыми по-женски, в развевающихся одеждах. Поэтому, что ни говори, Дорион, а змий-просветитель поступил мудро, избрав для преподания истины не грубого Адама, а Еву — нежную, как молоко, и ясную, как звезды. Она внимала ему покорно и последовала за ним к древу познания, ветви которого возвышались до самого неба и были, словно росой, окроплены божественным духом. Листья, зеленевшие на дереве, говорили на всех языках грядущих народов, и голоса их, слившись, звучали как гармоничный хор. Обильные плоды этого дерева наделяли посвященных, которые вкушали их, даром разбираться в металлах, камнях, растениях, а также в физических и нравственных законах; но плоды эти пылали огнем, и тот, кто страшился мучений и смерти, не смел поднести их ко рту. Между тем Ева, покорно вняв наставлениям змия, презрела страх и пожелала вкусить от плодов, дающих познание бога. А чтобы Адам, которого она любила, не стал ниже ее, она взяла его за руку и подвела к чудес-

ному древу. Она сорвала румяное яблоко, отведала его и затем подала своему другу. К несчастью, Иегова гулял в это время в саду; он застиг их и, видя, что они становятся мудрыми, пришел в страшный гнев. Он бывал особенно грозен, когда его охватывала зависть. Иегова собрал все подвластные ему силы и вызвал в нижнем небе такой грохот, что два слабых создания были совершенно ошеломлены. Плод выпал из рук мужчины, а женщина обняла несчастного и сказала: «Я хочу остаться невеждой и страдать вместе с тобой». Торжествующий Иегова держал Адама и Еву и все их потомство в состоянии растерянности и ужаса. Его грубое умение посылать громы небесные оказалось сильнее мастерства, которым владел змий — музыкант и геометр. Иегова научил людей несправедливости, невежеству и жестокости и отдал мир во власть злу. Он преследовал Каина и его сыновей за то, что они были искусны в ремеслах; он уничтожил филистимлян за то, что они сочиняли орфические гимны и басни вроде Эзоповых*. Он стал непримиримым врагом знания и красоты, и в течение долгих веков род человеческий слезами и кровью расплачивался за поражение крылатого змия. К счастью, среди греков нашлись проницательные люди, как, например, Пифагор и Платон; силою своего ума они заново открыли те мысли и знаки, которые змий, враждовавший с Иеговой, тщетно пытался внушить первой женщине. Эти люди обладали мудростью змия; потому-то, как заметил Дорион, змий и почитается афинянами. Наконец в последнее время появились в образе человеческом три божественных ума: Иисус Галилеянин, Василид и Валентин; * им было суждено сорвать прекраснейшие плоды с древа познания, которое корнями своими насквозь пронизывает

землю, а маковкой возносится к крайним высотам небес. Вот что я хотел сказать в защиту христиан, которым постоянно приписывают заблуждения, свойственные иудеям.

Дорион

Если я тебя правильно понял, Зенофемид, ты утверждаешь, что три человека, достойных восхищения — Иисус, Василид и Валентин,— открыли такие истины, которые были недоступны Пифагору, Платону, всем греческим философам и даже божественному Эпикуру, хотя он и освободил человека от всех напрасных страхов. Сделай одолжение, скажи, каким же образом эти трое смертных обрели знания, которые не давались даже мудрецам?

Зенофемид

Но ведь я уже сказал, Дорион, что наука и размышления — всего лишь первые ступени познания и что только вдохновение ведет к вечным истинам.

Гермодор

Правда, Зенофемид, душа питается вдохновением, как цикада — росой. Но правильнее сказать: только духу доступно высшее вдохновение. Ведь человек состоит из трех субстанций: из плотского тела, из души, более утонченной, но тоже плотской, наконец, из нетленного духа. Тело, покинутое духом, уподобляется дворцу, вдруг обезлюдевшему и погруженному в безмолвие. А дух летит по садам твоей души и сливается с божеством; он вкушает сладость грядущей смерти.

или, вернее, будущей жизни, ибо умереть — значит жить, и в этом состоянии дух, приобщаясь к божественной чистоте, сразу обретает и бесконечную радость и всеобъемлющее знание. Он растворяется в единстве, представляющем собою все. Он достигает совершенства.

Никий

Допустим, что так, Гермодор, но, по правде говоря, я не вижу большой разницы между всем и ничем. Для определения этого различия, мне кажется, даже нет подходящих слов. Бесконечность очень похожа на ничто: они равно непостижимы. По-моему, совершенство достается слишком дорогой ценой: за него расплачиваешься всем своим естеством, и чтобы достичь его, надо перестать существовать. В этом заключается изъян, которого не избегнул и сам бог,— с того времени как философы вздумали его усовершенствовать. В сущности, не зная, что такое «не быть», мы тем самым не знаем и того, что такое «быть». Мы ничего не знаем. Говорят, что людям не дано понять друг друга. Мне же думается, несмотря на наши шумные споры, что, наоборот, люди в конце концов непременно придут к согласию, ибо они будут погребены все вместе под грудой противоречий, которые они сами нагромоздили, как Пелион на Оссу.

Котта

Я очень люблю философию и посвящаю ей часы досуга. Но она вполне понятна мне лишь в книгах Цицерона. Рабы, налейте медового вина!

Калликрат

Странное дело! Как только я проголодаюсь, мне вспоминаются времена, когда поэты-трагики возлежали на пирах добрых тиранов,— и у меня слюнки начинают течь. Но достаточно мне хлебнуть превосходного вина, которым ты, великодушный Люций, так щедро нас угощаешь, и я помышляю только о междоусобных распрях и героических сражениях. Мне становится стыдно, что я живу в бесславное время, я взываю к свободе и в воображении проливаю свою кровь в битве при Филиппах, бок о бок с последними римлянами.

Котта

На закате республики мои предки умерли за свободу вместе с Брутом. Но возникает сомнение, не было ли то, что они называли свободой римского народа, просто стремлением самим управлять народом. Я не отрицаю, что свобода—первейшее благо для людей. Но чем дольше я живу, тем больше проникаюсь убеждением, что только сильное правительство может ее обеспечить гражданам. Я сорок лет исполняю высшие государственные должности, и долгий опыт убедил меня, что народ бывает более всего угнетен, когда правительство слабо. Поэтому все, кто вроде большинства риторов силится ослабить правительство, совершают гнусное преступление. Если воля одного иной раз и сказывается пагубно, то требовать всенародного согласия — значит делать вообще невозможным принятие какого-либо решения. До того как величие Римской империи осенило мир, народы благоденствовали только под властью умных деспотов.

Гермодор

Что касается меня, Люций, я думаю, что вообще нет хорошей формы правления и что изобрести такую форму невозможно, раз даже хитроумные греки, давшие миру столько прекрасного, как ни искали ее, все же не нашли. Отныне у нас уже нет на это никакой надежды. По непреложным признакам легко заключить, что мир скоро погрузится во мрак и варварство. Нам суждено, Люций, присутствовать при страшной агонии цивилизации. Из всех услад, которые доставляли нам разум, наука и добродетель, у нас осталась только одна — жестокая радость быть свидетелями собственного умирания.

Котта

Голод, который изнуряет народ, и дерзкие набеги варваров — разумеется, грозные бичи. Но с помощью хорошего флота, хорошей армии и хороших финансов...

Гермодор

К чему обольщаться? Умирающая империя — легкая добыча для варваров. Города, созданные эллинским гением и римским трудолюбием, скоро будут разграблены пьяными дикарями. Не станет на земле ни искусства, ни философии. Образы богов будут повержены в святилищах и душах. Наступит ночь разума и кончина мира. В самом деле, трудно поверить, что сарматы когда-либо займутся умственным трудом, германцы посвятят себя музыке и философии, а квады и маркоманны станут поклоняться бессмертным богам. Нет! Все катится в бездну. Древний Египет, бывший некогда колыбелью

мира, станет его усыпальницей. Серапису, богу смерти, будут посвящены последние таинства смертных, а я окажусь последним жрецом последнего бога.

В эту минуту какой-то странный человек приподнял занавес, и пирующие увидели перед собою горбуна с плешивой, суживающейся кверху головой. Он был одет, сообразно восточному обычаю, в лазоревую тунику, а на ногах у него были, как у варваров, красные шаровары, усеянные золотыми звездочками. Взглянув на вошедшего, Пафнутий узнал в нем Марка-арианина и, страшась, как бы не разразился гром небесный, поднял над головой руки и от ужаса побледнел. Ни богохульства язычников, ни чудовищные заблуждения философов — ничто на этом бесовском пиршестве не могло поколебать мужество Пафнутия, но одного появления еретика оказалось для этого достаточным. Пафнутий хотел бежать, но взгляд его встретился со взглядом Таис, и он сразу успокоился. Он прочел в душе этой избранницы и понял, что та, которой предстоит стать святою, уже сейчас охраняет его. Он схватился за край ее одежды, раскинутой на ложе, и мысленно вознес молитву к Спасителю Христу.

Появление этого человека, прозванного христианским Платоном, было встречено доброжелательным шепотом. Первым приветствовал его Гермодор:

— Достославный Марк, все мы рады видеть тебя среди нас, и пришел ты, можно сказать, особенно кстати. Из учения христиан нам известно только то, что преподается гласно. Между тем нет никакого сомнения, что такой философ, как ты, не может разделять мыслей черни, и нам хотелось бы узнать твое мнение об основных тайнах веры, которую ты проповедуешь.

Наш любезный Зенофемид, который, как тебе ведомо, всюду ищет символов, расспрашивал сейчас прославленного Пафнутия относительно еврейских книг. Но Пафнутий не дал ему ответа, и не следует этому удивляться, потому что наш сотрапезник дал обет молчания и бог наложил на его уста печать. Но ты, Марк, державший речи на христианских соборах и даже в совете божественного Константина, ты можешь, если соблаговолишь, удовлетворить наше любопытство и открыть нам философские истины, таящиеся в христианских сказаниях. Не правда ли, что первейшая из ваших истин — это существование единого бога? Сам я твердо верую в него.

Марк

Да, почтенные братья, я верую в бога единого, не рожденного, единственно бессмертного, начало всех начал.

Никий

Мы знаем, Марк, что твой бог создал вселенную. Это был, конечно, великий перелом в его существовании. Он существовал уже вечность, прежде чем решился на это. Но справедливости ради я признаю, что положение его было до крайности затруднительным. Чтобы оставаться совершенным, ему надо было пребывать в бездействии, а чтобы доказать себе свое собственное существование, приходилось действовать. Ты уверяешь, что он решил действовать. Я готов тебе поверить, хотя со стороны совершенного бога это было непростительной неосторожностью. Однако скажи нам, Марк, как же он взялся за дело?

Марк

Всякий — даже не христианин,— кто владеет, как Гермодор и Зенофемид, основами знания, понимает, что бог не создал мир самолично, без посредников. Он дал жизнь единственному своему сыну, которым все и было сотворено.

Гермодор

Ты сказал истину, Марк; и этого сына боготворят под именами Гермеса, Митры, Адониса, Аполлона и Христа *.

Марк

Я не был бы христианином, если бы называл его другими именами, кроме имени Иисуса, Христа и Спасителя. Он истинный сын божий. Но он не вечен, раз он имел начало;* думать же, что он существовал еще до того, как был рожден,— значит допустить нелепость, которую следует оставить мулам никейского собора да упрямому ослу, который непозволительно долго правил александрийской церковью под именем Афанасия *,— будь он проклят!

При этих словах Пафнутий, бледный, с челом, влажным от предсмертного пота, осенил себя крестным знамением, но все же не нарушил своего величественного молчания.

Марк продолжал:

— Ясно, что нелепый никейский символ веры является посягательством на величие бога единого, ибо он предполагает раздел неделимых атрибутов бога

между богом и его порождением, между богом и посредником, которым все было сотворено. Перестань насмешничать над истинным богом христиан, Никий. Знай, что, как лилии полевые, он не работает, не прядет. Работник не он, а сын его единственный, Христос, который создал мир, а потом пришел, чтобы исправить свое творение. Ибо творение не могло быть совершенным и зло неизбежно примешалось к добру.

Никий

Что такое добро и что такое зло?

Наступило краткое молчание. Гермодор, воспользовавшись им, протянул над скатертью руку и указал на ослика из коринфского металла с навьюченными на него корзинками — одной с белыми, другой с черными оливками.

— Взгляните на эти оливки,— сказал он.— Наш взор тешится контрастом их цветов, и мы радуемся тому, что эти — светлые, а те — темные. Но, если бы они наделены были мыслями и разумением, белые сказали бы: хорошо, когда оливка белая, и плохо, когда она черная; черные же оливки возненавидели бы белых. Мы судим о них правильнее, ибо мы настолько же выше их, насколько боги выше нас. Для человека, видящего лишь одну сторону сущего, зло есть зло; для бога, понимающего все, зло есть добро. Конечно, уродство уродливо, а не прекрасно, но если бы все в мире было прекрасно, то мир в целом не был бы прекрасен. Следовательно, хорошо, что есть зло,— как это доказал второй Платон *, превзошедший мудростью первого.

Еврит

Станем на более нравственную точку зрения. Зло есть зло не для мира, изначальной гармонии которого ему не разрушить, а для дурного человека, который совершает зло, а мог бы его и не совершать.

Котта

Клянусь Юпитером! Вот здравое рассуждение.

Еврит

Мир — трагедия, сочиненная превосходным поэтом. Бог, создавший эту трагедию, предназначил каждого из нас сыграть в ней определенную роль. Если ему угодно, чтобы ты был нищим, монархом или хромым, старайся как можно лучше исполнить порученную тебе роль.

Никий

Конечно, хорошо, если хромой из этой трагедии хромает, как Гефест; хорошо, если безумец предается неистовству, как Аякс, если кровосмесительница повторяет преступления Федры *, если предатель предает, обманщик лжет, убийца убивает. Когда же представление окончится, сочинитель похвалит в равной мере всех лицедеев — царей-праведников, кровавых тиранов, богобоязненных дев, бесстыжих жен, самоотверженных граждан и подлых душегубцев.

Еврит

Ты извращаешь мою мысль, Никий, и делаешь из прекрасной девушки отвратительную Медузу *. Мне тебя жаль,— тебе неведомы природа богов, справедливость и вечные законы.

Зенофемид

Что касается меня, друзья мои, я верую в существование добра и зла. Но я убежден, что нет такого человеческого поступка — будь это даже поцелуй Иуды, — который не заключал бы в себе зачатка искупления. Зло содействует конечному спасению человечества, и тем самым оно связано с добром и несет в себе то положительное, что свойственно добру. Христиане превосходно выразили это в сказании о рыжем человеке, который, предавая своего учителя, подошел к нему с поцелуем мира и этим поступком утвердил спасение человечества. Поэтому, на мой взгляд, трудно представить себе что-либо более несправедливое и более необоснованное, чем та ненависть, какую иные из учеников Павла-ткача * питают к несчастнейшему из апостолов Христа; они забывают, что поцелуй Искариота, предсказанный самим Христом, был, по их же собственному учению, необходим для искупления и что, если бы Иуда не получил мошны с тридцатью сребрениками, божественная премудрость не оправдалась бы, провидение было бы опровергнуто, предначертания его опорочены, а мир вновь отдан во власть зла, невежества и смерти.

Марк

Божественная премудрость предвидела, что Иуда, вольный не давать предательского поцелуя, все же даст его. Следовательно, она воспользовалась злодеянием Искариота как камнем, на котором воздвигнут чудесный замысел искупления.

Зенофемид

Я говорил сейчас с тобою, Марк, так, словно я верю, будто искупление человечества осуществлено распятым

Христом; мне известно, что таково верование христиан, и я стал на их точку зрения для того, чтобы лучше уяснить ошибку тех, кто верит, будто Иуда проклят навеки. На самом же деле я полагаю, что Христос всего-навсего предтеча Василида и Валентина. Что же до тайны искупления, я расскажу вам, друзья, если хотите, как оно совершилось на земле в действительности.

Гости знаком просили его продолжать. Двенадцать девушек, словно юные афинянки со священными корзинами Цереры *, легкой поступью вошли в зал; они несли на головах корзины с гранатами и яблоками, и мерному шагу их сопутствовали звуки невидимой флейты. Они поставили корзины на стол, флейта умолкла, и Зенофемид продолжал так:

— Когда Евноя, мысль бога, творила вселенную *, править землей она поручила ангелам. Но ангелы не устояли против соблазнов, как то подобало бы властителям. Они увидели, что дочери человеческие красивы, и однажды вечером застигли их у водоемов и сочетались с ними. От этих союзов произошел буйный род, распространивший по земле несправедливость и жестокость, и пыль на дорогах оросилась кровью невинных. Видя все это, Евноя впала в безысходную печаль.

— Вот что я наделала! — стонала она, склонившись над миром. — По моей вине жизнь детей моих полна горечи. Их страдания — плоды моего преступления, и я хочу искупить его. Сам бог, за которого я мыслю, бессилен вернуть им первоначальную их непорочность. Что сделано — сделано, и творение останется несовершенным навеки. Но я не покину свои создания!

Я не могу сделать их счастливыми, как я сама, зато могу стать несчастной, как они. Раз я совершила ошибку, наделив их телами, которые унижают их, я сама воплощусь в тело, подобное их телам, и стану жить среди них.

С этими словами Евноя спустилась на землю и воплотилась во чреве одной из дочерей Тиндарея. Она родилась маленькой и слабой, и ей дано было имя — Елена. Покорная всем тяготам жизни, она вскоре выросла, развилась и похорошела и стала желаннейшей из женщин, — как она заранее и решила, дабы на своем смертном теле испытать самый страшный позор. Пав жертвой грубых и похотливых мужчин, она стала соблазнять их, и предалась блуду во искупление всего блуда, всех злодеяний, всей неправды, и своей красотой принесла гибель народам, чтобы бог мог простить грехи мира. И никогда Евноя, небесная мысль, не была столь пленительной, как в те дни, когда она, женщиной, отдавалась всем без разбору — и героям и пастухам. Поэты угадывали ее божественное происхождение, когда рисовали ее такой невозмутимой, гордой и гибельной и когда взывали к ней: «Душа ясная, как морская гладь!»

Так жалость приобщила Евною к страданиям и злу. Она умерла, и лакедемоняне поныне показывают ее могилу; ей суждено было вкусить от всех горьчайших плодов, которые она посеяла, и вслед за сладострастием познать смерть. Однако, покинув разлагающееся тело Елены, Евноя воплотилась в другую женскую плоть и вновь обрекла себя на всяческое поругание. Так, переходя из тела в тело и разделяя с нами бремя тяжких годин, она принимает на себя грехи мира. Ее жертва не будет напрасной. Связанная с нами узами плоти,

любя и сокрушаясь вместе с людьми, она осуществит и свое и наше искупление и вознесет нас, приникших к ее белой груди, в мирные селения вновь обретенных небес.

Гермодор

Я знал это сказание. Помнится, говорили, что при императоре Тиберии, во время одного из своих превращений, божественная Елена жила у Симона Волхва*. Однако я думал, что ее падение произошло помимо ее воли; по-видимому, ангелы увлекли ее за собою в бездну.

Зенофемид

Действительно, Гермодор, люди, недостаточно посвященные в мистерии, полагали, что падение скорбной Евиои совершилось без ее согласия. Но, если бы это было так, Евиоя не стала бы куртизанкой-искупительницей, не стала бы жертвой, принявшей на себя наши пороки, хлебом, впитавшим в себя вино нашего позора, не стала бы драгоценным даром, почтительным приношением, жертвой всесожжения, дым от которой подымается к богу. Если бы ее грехи не были добровольны, их нельзя было бы поставить ей в заслугу.

Калликрат

А хочешь, Зенофемид, я скажу тебе, в какой стране, под каким именем, в каком прелестном обличье живет в наши дни вечно возрождающаяся Елена?

Зенофемид

Открыть эту тайну может только мудрец. А мудрость, Калликрат, не дана поэтам, ибо они живут в грубом мире материи и, как дети, забавляются звуками да пустыми бреднями.

Калликрат

Берегись, не оскорбляй богов, нечестивый Зенофемид; они благоволят к поэтам. Первые законы были некогда продиктованы в стихах самими бессмертными, а откровения богов — истинные поэмы. Звуки гимнов сладостны для слуха небожителей. Всем известно, что поэты — ясновидящие и что им открыты все тайны. Я тоже поэт, я увенчан венком Аполлона, и, как поэт, я оповещу людей о последнем воплощении Евнои. Вечная Елена — среди нас: она смотрит на нас, и мы смотрим на нее. Взгляните на эту женщину, облокотившуюся на подушки ложа; она задумчива и неизъяснимо прекрасна, на глазах у нее слезы, на устах — поцелуи. Вот она! Очаровательная, как во времена Приама и в дни процветания Азии, Евноя ныне зовется Таис.

Филина

Да что ты, Калликрат? Неужели наша любезная Таис знавала Париса, Менелая и пышнопоножных ахейцев, сражавшихся под Илионом! Скажи, Таис, троянский конь был очень большой?

Аристобул

Кто говорит о коне?

— Я напился, как фракиец,— вскричал Кереас. И он скатился под стол.

Калликрат поднял кубок:

— Я пью за геликонских муз; они мне обещали, что черное крыло роковой ночи никогда не затмит моей славы.

Старый Котта уснул, и его лысая голова медленно покачивалась на широких плечах.

Философ Дорион, закутанный в плащ, приходил все в большее возбуждение. Он, шатаясь, подошел к ложу Таис:

— Таис, я люблю тебя, хотя любить женщину и ниже моего достоинства.

Таис

А еще недавно ты не любил меня.

Дорион

Я был тогда натощак и еще не выпил.

Таис

А я, друг мой, пила только воду, поэтому позволь мне не любить тебя.

Дорион не стал ее слушать и подсел к Дрозее, которая взглядом подзывала его, чтобы сманить от подруги. Занявший его место Зенофемид поцеловал Таис в губы.

Таис

Я думала, ты добродетельнее.

Зенофемид

Я совершенен, а тот, кто совершенен,— выше всяких законов.

Танс

И ты не боишься, что в объятиях женщины оскверишь свою душу?

Зенофемид

Тело может уступить желанию и без участия души.

Танс

Ступай прочь! Я хочу, чтобы меня любили и телом и душой. Все философы — скоты!

Один за другим гасли светильники. Слабый свет, проникавший в щели занавесей, озарял бледные лица и припухшие глаза пирующих. Аристобул свалился возле Кереаса и во сне, стиснув кулаки и бранясь, посылал своих конюхов вертеть жернов. Зенофемид сжимал в объятиях полураздетую Филину. Дорион кропил вином обнаженную грудь Дрозеи; капли рубинами скатывались с ее белых персей, дрожавших от смеха, а философ ловил вино губами, припав к нежной коже. Евкрит поднялся, обнял Никия за плечо и увлек его в глубь зала.

— Друг,— сказал он улыбаясь,— о чем ты думаешь, если вообще еще можешь думать?

— Я думаю о том, что женская любовь подобна садам Адониса.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты ведь знаешь, Евкрит, что женщины каждый год устраивают у себя на террасах садики и сажают в глиняные горшки вербу в честь возлюбленного Венеры? Эти веточки цветут недолго и скоро вянут.

— Друг, стоит ли беспокоиться о женской любви и о каких-то садиках? Безрассудно привязываться к тому, что мимолетно.

— Если красота только тень, то желание — лишь молния. Разве безрассудно жаждать красоты? Не благоразумно ли, преходящему стремиться к мимолетному, а молнии — поражать ускользающую тень?

— Никий, ты мне напоминаешь мальчугана, занятого игрой в бабки. Поверь, будь свободен. Только тогда станешь мужчиной.

— Как же может человек быть свободным, Евкрит, раз он облечен в тело?

— Сейчас ты это увидишь, сын мой. Сейчас скажешь: Евкрит был свободен.

Старик говорил, прислонившись к порфировой колонне; на его лицо падали первые лучи зари. Гермодор и Марк подошли к собеседникам, и они вчетвером, не обращая внимания на хохот и выкрики опьяневших гостей, завели разговор о божественном. В словах Евкрита было столько мудрости, что Марк заметил:

— Ты достоин познать истинного бога.

Евкрит ответил:

— Истинный бог — в сердце мудреца.

Потом они заговорили о смерти.

— Я хочу, чтобы она застигла меня в одну из тех минут, когда я стремлюсь к совершенству и честно исполняю свой долг,— сказал Евкрит.— Перед лицом смерти я воздену к небу незапятнанные руки и скажу

богам: «Ваши образы, запечатленные вами в храме моей души, я, боги, не осквернил; я украсил их моими мыслями, словно гирляндами, букетами и венками. Я жил согласно вашим предначертаниям; я пожил достаточно».

Он говорил, воздевая к небесам руки, и лицо его озарялось тихим сиянием.

На мгновенье он задумался, потом добавил голосом, в котором звучала глубокая радость:

— Расстанься с жизнью, Евкрит, подобно тому как зрелая оливка срывается с ветки, воздавая хвалу дереву, на котором она росла, и благословляя вскормившую ее землю.

Тут он вынул из складок хитона обнаженный кинжал и вонзил его себе в грудь.

Когда собеседники мудреца схватили его руку, железное острие уже проникло ему в сердце. Евкрит обрел покой. Гермодор с Никием перенесли побелевшее, окровавленное тело на одно из пиршественных лож; кругом раздавались пронзительные вопли женщин, сонное ворчание потревоженных гостей, а из-за ковров, погруженных в полумрак, доносились приглушенные страстные вздохи. Старик Котта, очнувшись от чуткого солдатского сна, уже стоял возле трупа, осматривая рану, и кричал:

— Позвать сюда моего врача Аристея!

Никий покачал головой:

— Евкрита уже нет в живых,— сказал он.— Ему захотелось умереть, как другим хочется любить. Как и все мы, он уступил непреодолимому желанию. И вот он стал подобен богам, которые не желают ничего.

Котта схватился за голову:

— Умереть! Пожелать смерти, когда еще можешь служить государству! Какая бессмыслица!

Между тем Пафнутий и Таис по-прежнему возлежали неподвижно, молча, одни возле другого, и души их полнились отвращением, ужасом и надеждой.

Вдруг монах схватил лицедейку за руку и, шагая через тела пьяных, которые валялись вперемешку с обнявшимися парами, по лужам вина и крови повлек ее к выходу.

Над городом забрезжил рассвет. По сторонам безлюдной дороги тянулись длинные колоннады, ведущие к гробнице Александра, вершина которой сияла в розовых лучах зари. На плитах мостовой тут и там валялись растрепанные венки и погасшие факелы. В воздухе чувствовалось свежее дыхание моря. Пафнутий с отвращением сорвал с себя роскошный хитон и растоптал его ногами.

— Ты слышала, что̀ они говорят, моя Таис! — воскликнул он.— Они изрыгнули все безумства и всю мерзость, какие только можно себе представить. Они вывели божественного создателя всего сущего на посмешище адских сил, они бесстыдно отрицали добро и зло, они хулили Христа и восхваляли Иуду. А гнуснейший из них — шакал тьмы, зловонный гад, арианин, изглоданный развратом и смертью,— раскрывал рот, который можно сравнить с могилой. Таис моя, ты видела, как они ползли к тебе, словно мерзкие слизняки, и оскверняли тебя своим липким потом; ты видела этих скотов, уснувших прямо на полу, под ногами рабов; ты видела этих тварей, совокупившихся на коврах, испачканных блевотиной; ты видела, как безрассудный старец пролил кровь, которая презреннее вина, пролитого во время оргии; видела, как он, прямо после попойки, недостойным предстал перед ликом Христа!

Хвала создателю! Ты видела их заблуждения и поняла всю их гнусность. Таис, Таис, Таис, вспомни безрассудства этих философов и скажи: неужели ты хочешь безумствовать вместе с ними? Вспомни взгляды, движения, хохот их достойных подруг, этих похотливых и хитрых распутниц, и скажи: неужели ты хочешь быть похожей на них?

Сердце Таис было преисполнено усталости и отвращения от всего, что произошло в эту ночь, от безразличия и грубости мужчин, от жестокости женщин,— и она прошептала:

— Я смертельно устала, отец. Где бы мне отдохнуть? Лицо у меня пылает, голова пуста, а руки так измождены, что я не удержала бы в них даже счастье, если бы кто-нибудь протянул его мне...

Пафнутий ласково смотрел на нее:

— Мужайся, сестра моя. Час успокоения недалек, он чист и белоснежен, как туман, который поднимается сейчас над водой и садами.

Они подходили к дому Таис и уже видели вершины платанов и терпентиновых деревьев, окропленных росой, которые возвышались за каменной оградой, вокруг грота Нимф, и шелестели от утренних дуновений. Перед путниками открылась площадь — пустынная, обрамленная стелами и обетными статуями; по краям площади полукругом стояли мраморные скамьи, поддерживаемые химерами. Таис опустилась на одну из скамей. Потом спросила, обратив к монаху тревожный взгляд:

— Что же надо делать?

— Надо последовать за Тем, Кто пришел за тобою,— ответил монах.— Он отрешит тебя от всего мирского, подобно тому как виноградарь срывает спелую гроздь, которая иначе сгнила бы на лозе, и несет ее в давильню, чтобы обратить в благоухающее вино.

Слушай: в десяти часах ходьбы от Александрии, к западу, неподалеку от моря, есть женская обитель, устав которой — совершеннейшее создание мудрости, достойное того, чтобы его переложили в лирическую поэму и пели под звуки лютни и тамбуринов. Об этом уставе поистине можно сказать, что женщины, следующие ему, ногами ступают по земле, челом же возвышаются до небес. Они и в земной юдоли живут жизнью ангелов. Они хотят пребывать в бедности, дабы Христос возлюбил их, быть скромными, дабы он взирал на них, целомудренными, дабы он обручился с ними. И Христос каждодневно является им в образе садовника, босой, с простертыми вперед прекрасными руками — словом, таким, каким явился Марии на пути ко Гробу. Так вот, я сегодня же отведу тебя, моя Таис, в эту обитель, и ты присоединишься к этим непорочным девам и станешь участницей их небесных бесед. Они ждут тебя как сестру. На пороге обители благочестивая Альбина, их настоятельница, даст тебе целование мира и скажет: «Добро пожаловать, дочь моя».

Куртизанка восторженно вскричала:

— Альбина! Дочь Цезарей! Внучка императора Кара!

— Да, это она! Та самая Альбина, которая, родившись в пурпуре, облеклась во власяницу и, будучи дочерью владык мира, возвысилась до того, что стала служанкой Христа. Она тебе будет матерью.

Таис поднялась со скамьи и сказала:

— Отведи же меня в дом Альбины.

Сердце Пафнутия возликовало; он огляделся вокруг и, уже не опасаясь греха, вкусил радость от созерцания видимого мира. Его взор с наслаждением упивался божьим светом, какие-то неведомые дуновения касались его чела. Вдруг он заметил в углу городской пло-

щади дверцу, ведущую в жилище Таис, вспомнил, что величественные деревья, вершинами которых он только что любовался, осеняют сады куртизанки, и мысленно представил себе все гнусности, отравлявшие своим зловонием воздух, сейчас небесно чистый и прозрачный,— и его мгновенно охватила такая скорбь, что взор его затуманился горькой росой.

— Таис,— сказал он,— бежим без оглядки. Но нельзя оставить за собою пособников, свидетелей, соучастников твоих прошлых преступлений — пышную обивку стен, ложа, ковры, сосуды с благовониями, светильники. Они разгласят твой позор. Неужели ты допустишь, чтобы вся эта постыдная утварь, оживленная злыми силами и подхваченная проклятым духом, притаившимся в ней, понеслась вслед за тобою в пустыню? Истинную правду говорят, что не раз столы, служившие непотребству, и мерзкие ложа по воле темных сил действовали, разговаривали, скакали по земле и носились по воздуху. Да погибнет все, что было свидетелем твоего посрамления. Спеши, Таис! Пока город еще спит, прикажи своим рабам развести костер тут же, на площади, и мы сожжем все гнусные сокровища, накопленные в твоем доме.

Таис согласилась.

— Поступай как хочешь, отец,— сказала она,— знаю, неодушевленные предметы иной раз служат убежищем для духов. По ночам некоторые вещи разговаривают; они то равномерно постукивают по полу, то сыплют слабые искры, похожие на условные знаки. Больше того. Ты заметил, отец, справа у входа в грот Нимф изваяние нагой женщины, которая собирается искупаться? Однажды я собственными глазами видела, как статуя повернула голову, словно живая, потом сразу же приняла обычное положение. Я оледенела

от ужаса. Я рассказала об этом Никию, но он только посмеялся надо мной. Все же в этой статуе есть какая-то колдовская сила, потому что она внушила одному далмату неистовую страсть, в то время как к моей красоте он был равнодушен. Нет сомнения, до сих пор я жила среди заколдованных вещей и подвергалась страшной опасности,— ведь бывали же случаи, что мужчины погибали в объятиях бронзовых статуй. А все-таки жаль уничтожать драгоценные произведения великих мастеров, и, если сжечь все мои ковры и занавеси, это будет великая утрата. Некоторые из них на редкость хороши по подбору красок и очень дорого обошлись тем, кто мне их подарил. У меня есть также кубки, статуи и картины, стоящие много денег. Мне кажется, что уничтожать их нет надобности. Но тебе лучше знать, отец, поэтому делай как хочешь.

С этими словами она последовала за монахом к дверце, над которой всегда висело такое великое множество гирлянд и венков, приказала отворить ее и велела привратнику созвать всех домашних рабов. Первыми явились четыре индуса-повара. Все четверо были желтокожие, и все четверо — кривые. Собрать четырех рабов одной и той же расы, с одним и тем же изъяном стоило Таис немалого труда и немало потешило ее. Прислуживая за столом, они вызывали удивление гостей, а Таис еще заставляла их рассказывать их историю. Теперь они молча ждали приказаний. Вслед за ними явились их подручные. Потом пришли конюхи, псари, носильщики и скороходы с бронзовыми ногами, два садовника, волосатых, как Приап, шесть свирепых с виду негров, три раба-грека: один грамматик, другой поэт и третий певец. Когда все они выстроились на городской площади, прибежали еще негритянки, ворочавшие большими круглыми глазами,

любопытные, встревоженные, с огромными ртами, которые доходили чуть ли не до ушей, украшенных подвесками. Наконец появились шесть белых рабынь; они с недовольным видом на ходу расправляли покрывала и не спеша переступали ногами, путаясь в тонких золотых цепочках. Когда все рабы собрались, Таис сказала им, указывая на Пафнутия:

— Исполняйте то, что прикажет вам этот человек, ибо в нем дух господень, и, если вы его ослушаетесь, вас поразит смерть.

Она и в самом деле думала, ибо слыхала об этом не раз, что святые пустынники облечены властью ввергать в разверстую и дымящуюся зёмлю любого нечестивца, косиувшись его своим посохом.

Пафнутий отпустил женщин, а также женоподобных греков и сказал остальным:

— Принесите сюда побольше дров, разведите костер и свалите в него вперемешку все, что имеется в доме и в гроте.

Озадаченные рабы не трогались с места, вопросительно взирая на хозяйку. Но она стояла молча и безучастно, поэтому рабы сбились в кучу и жались друг к другу, недоумевая, не шутит ли она.

— Повинуйтесь! — сказал монах.

Среди рабов было несколько христиан. Они поняли смысл его распоряжения и пошли в дом за дровами и факелами. Остальные не без охоты последовали их примеру, ибо, как все бедняки, ненавидели богатство и рады были удовлетворить врожденный инстинкт разрушения. Когда они уже стали складывать костер, Пафнутий сказал Таис:

— Я подумал было, женщина, не позвать ли казначея какой-нибудь церкви (если в Александрии еще найдется хоть одна, не оскверненная скотами-арианами

и достойная называться церковью) и не передать ли ему твое имущество для раздачи вдовам, чтобы тем самым обратить мзду за преступления в сокровище справедливости. Но эта мысль была не от бога, и я отверг ее; ведь предложить избранникам Христа плоды прелюбодеяния значило бы тяжко оскорбить их. Все, к чему ты прикасалась, Таис, должно быть без остатка истреблено огнем. Хвала небу! Все эти туники, все покрывала, свидетели поцелуев, неисчислимых, как морские волны, познают теперь поцелуи пламени. Рабы, не медлите! Еще дров! Еще соломы и факелов! А ты, женщина, ступай домой, сними с себя мерзкие украшения и попроси у последней из твоих рабынь, как великой милости, тунику, в которой она моет полы.

Таис повиновалась. Индусы, стоя на коленях, раздували тлеющие головешки, а негры бросали в костер ларцы из черного дерева, кедра и слоновой кости; ларцы приоткрывались, и из них сыпались венки, гирлянды и ожерелья. Дым клубился черным столбом, как при жертвоприношениях, которые поощрялись старым законом. Вдруг огонь, таившийся в дровах, вспыхнул, захрипел, как чудовищный зверь, и почти невидимые языки пламени стали жадно пожирать драгоценную пищу. Тут слуги осмелели и заработали более рьяно; они весело тащили драгоценные ковры, затканные серебром покрывала, пестрые занавеси. Они вприпрыжку несли тяжелые столы, кресла, толстые подушки, ложа с золотыми перекладинами. Три рослых эфиопа прибежали с раскрашенными статуями нимф, в том числе и с той, в которую юноши влюблялись как в смертную; казалось, будто большие обезьяны похитили женщин. Но когда статуи выпали из рук этих чудовищ и восхитительные нагие тела разбились о каменную мостовую, вдруг послышался стон.

В это мгновенье показалась Таис; волосы у нее были распущены и спадали длинными прядями, она шла босиком, в бесформенной и грубой тунике, но и этой одежде стоило только коснуться тела Таис, чтобы проникнуться какой-то божественной негой. Вслед за Таис шел садовник; он нес в руках статуэтку Эрота из слоновой кости, полускрытую его развевающейся бородой.

Таис знаком велела ему остановиться, подошла к Пафнутию и, указывая на малютку-бога, спросила:

— Отец, неужели и его надо сжечь? Он древней и восхитительной работы, и цена ему во сто крат больше, чем вес золота. Если он погибнет, это будет непоправимо, ибо никогда в мире уже не появится мастер, который мог бы изваять такого Эрота. Прими в соображение, отец, и то, что этот отрок — Любовь и что поэтому нельзя обращаться с ним жестоко. Поверь: любовь — добродетель, и если я грешила, отец, так грешила не любовью, а тем, что отрицала ее. Я никогда не пожалею о том, что̀ делала по ее велению; я оплакиваю лишь то, что̀ совершала вопреки ее запрету. Она не позволяет женщинам отдаваться тем, кто приходит не во имя любви. Поэтому-то и надо ее чтить. Взгляни, Пафнутий, как прелестен этот Эрот! Как шаловливо он прячется в бороде садовника! Однажды, в те дни, когда меня любил Никий, он мне принес его и сказал: «Он будет говорить с тобою обо мне». Но плутишка все говорил со мной о юноше, которого я знавала в Антиохии, а о Никии не сказал мне ничего. И без того уже много сокровищ погибло тут в огне, отец. Сохрани этого Эрота и пожертвуй его в какой-нибудь монастырь. При виде его каждый обратится сердцем к богу, ибо любви свойственно воспаряться к небесам.

Садовник уже решил, что отрок Эрот спасен, и улыбался ему как ребенку, но Пафнутий вырвал у него статуэтку и бросил ее в огонь, вскричав:

— К нему прикасался Никий, и одного этого достаточно! Значит, он источает яд.

Потом он сам стал хватать охапками сверкающие туники, пурпурные плащи, золотые сандалии, гребни, скребки, зеркала, светильники, лиры и лютни; он бросал все это в костер, который разгорелся ярче Сарданапалова *, а тем временем рабы, упиваясь хмельной радостью разрушения, с дикими воплями плясали под дождем разлетавшихся искр и пепла.

Разбуженные шумом соседи один за другим отворяли окна и, протирая глаза, недоумевали, откуда такой дым. Полуодетые люди выбегали на площадь и подходили к костру.

— Что тут такое? — спрашивали они.

Среди них были торговцы, у которых Таис обычно покупала ткани и благовония; они испуганно вытягивали желтые, сухие шеи и силились уразуметь происходящее. На площади появились молодые кутилы, возвращавшиеся с ужина в сопровождении рабов; увенчанные цветами, в развевающихся туниках, они останавливались возле костра и громко кричали. Все возраставшая толпа зевак вскоре узнала, что это Таис, по внушению антинойского настоятеля, сжигает свои сокровища перед тем, как уйти в монастырь.

Купцы думали: «Таис уезжает отсюда; больше не придется ничего ей продавать; даже подумать об этом страшно. Что с нами станется без нее? Этот монах лишил ее рассудка. Он нас разоряет. Как правители допускают это? К чему же тогда служит закон? Неужели в Александрии перевелись блюстители порядка? Таис

не думает ни о нас, ни о наших женах, ни о бедных наших детишках. Такой поступок — всенародный срам. Надо силой удержать ее в городе».

А юноши думали: «Если Таис отречется от забав и любви — значит, конец самым милым нашим развлечениям. Она была немеркнущей славой театра, сладчайшим его очарованием. Она радовала даже тех, кто не обладал ею. Женщины, которых любили, были любимы благодаря ей; не было поцелуя, в котором она хоть чуточку не принимала бы участия, ибо она была негою среди нег, и одно только сознание, что она среди нас, уже побуждало к наслаждениям».

Так думали юноши, а один из них, по имени Цероит, которому случалось держать ее в объятиях, кричал, что это злодейское похищение, и хулил бога, именуемого Христом. Всеми поведение Таис сурово осуждалось:

— Это постыдное бегство!

— Подлое предательство!

— Она лишает нас куска хлеба!

— Она увозит с собою приданое наших дочерей!

— Пусть по крайней мере расплатится за венки, которые я ей продал!

— И за шестьдесят платьев, которые она мне заказала!

— Она задолжала всем вокруг!

— Кто же теперь будет представлять Ифигению, Электру и Поликсену? Даже красавцу Полибу не сыграть так, как играла она.

— До чего же грустно станет жить на свете, когда дверь ее будет заколочена!

— Она была лучезарной звездой, ясным месяцем на александрийском небе.

Теперь уже на площадь собрались все наиболее известные в городе нищие — слепцы, безногие, расслабленные; они ползали в ногах у богачей и стенали:

— Как мы будем жить без Таис? Ведь она кормила нас! Двести несчастных каждый день насыщалось крохами с ее стола, а когда ее любовники уходили от нее, они в избытке счастья мимоходом бросали нам пригоршни сребреников.

Сновавшие в толпе воры испускали оглушительные вопли и толкались, чтобы вызвать еще бо́льшую сумятицу и, пользуясь ею, украсть какую-нибудь ценную вещь.

В этой сутолоке один только старик Фаддей, торговавший милетской шерстью и тарентским льном, человек, которому Таис задолжала крупную сумму денег, был спокоен и молчалив. Прислушиваясь и искоса взирая на окружающих, он поглаживал свою козлиную бородку и о чем-то размышлял. Наконец он подошел к юному Церонту и, потянув его за рукав, прошептал:

— Красавец патриций, избранник Таис! Неужели ты допустишь, чтобы какой-то монах отнял ее у тебя?

— Клянусь Поллуксом и его сестрой *, это ему не удастся! — воскликнул Церонт.— Я поговорю с Таис и, не хвалясь, ручаюсь, что она послушается скорее меня, чем этого черномазого лапифа. Расступись! Чернь, расступись!

И, расталкивая мужчин, сшибая старух, раскидывая ногою детей, он пробрался к Таис, отвел ее немного в сторону и сказал:

— Красавица, взгляни на меня, вспомни и скажи: неужели ты в самом деле отказываешься от любви?

Но Пафнутий бросился между Таис и Церонтом.

— Нечестивец, — вскричал он, — трепещи! Только коснись ее — и умрешь на месте. Она священна, она достояние божье.

— Прочь, обезьяна! — крикнул взбешенный юноша.— Дай мне поговорить с подругой, иначе я схвачу тебя за бороду и сволоку твою мерзкую тушу на костер, чтобы она поджарилась, как колбаса.

И он протянул руку к Таис. Но монах с такой неожиданной силой оттолкнул его, что Церонт пошатнулся и упал навзничь у самого костра, в рассыпавшиеся уголья.

Тем временем Фаддей переходил от одного к другому, драл уши рабам, целовал руки хозяевам, науськивая и тех и других на Пафнутия; уже образовалась кучка людей, которые решительно наступали на монаха-похитителя. Церонт поднялся, задыхаясь от дыма и бешенства, с испачканным лицом и опаленными волосами. Он разразился бранью на богов и присоединился к нападающим, позади которых ползли, потрясая костылями, нищие. Вскоре Пафнутия окружила толпа людей, которые грозили кулаками, размахивая палками и кричали: «Смерть ему!»

— На виселицу монаха! На виселицу!

— Нет, бросьте его в костер. Сожгите его живьем!

Пафнутий схватил свою прекрасную добычу и прижал ее к сердцу.

— Нечестивцы! — кричал он громовым голосом.— Не пытайтесь отнять голубицу у господнего орла. Лучше последуйте примеру этой женщины и обменяйте свою грязь на золото. Отрекитесь подобно ей от ложных богатств; вы воображаете, будто владеете ими, а в действительности они владеют вами. Спешите: близок день, и долготерпение божие подходит к концу. Покайтесь, исповедуйтесь в своих грехах, плачьте

и молитесь. Грядите по стопам Таис. Возненавидьте преступления ваши, они не меньше преступлений Таис. Кто из вас, бедняков и богачей, купцов и воинов, рабов, прославленных граждан, кто осмелится перед лицом бога сказать, что он лучше этой блудницы? Вы — ходячая нечисть, и только благодаря дивному милосердию божьему вы не обратились еще в потоки зловонной грязи.

Он говорил, а в глазах его сверкали молнии; казалось, из уст его вылетают рдеющие угли, и толпа поневоле слушала его.

Но старый Фаддей не унимался. Он подбирал камни и устричные раковины, прятал их в складки своей туники, затем, не решаясь бросить их сам, потихоньку совал их в руки нищих. Вскоре в воздух полетели камни, а ловко брошенная раковина рассекла Пафнутию лоб. Кровь, струившаяся по темному лику мученика, капля за каплей стекала на голову кающейся, как воды нового крещения. Пафнутий прижимал к себе Таис, ее нежное тело страдало от прикосновения к грубой власянице монаха, и она чувствовала, как все ее существо пронизывается трепетом ужаса, отвращения и блаженства.

В это мгновенье какой-то богато одетый человек с венком на голове растолкал разъяренную толпу и воскликнул:

— Стой! Стой! Этот монах — мой брат.

То был Никий. Он только что закрыл глаза философу Евкриту и теперь возвращался домой; выйдя на площадь, он увидел дымящийся костер, Таис в рубище и Пафнутия, стоящего под градом камней. Это не особенно удивило его, ибо он вообще ничему не удивлялся.

Он повторял:

— Стойте, говорю я вам! Пощадите моего старого друга. Славный Пафиутий достоин уважения!

Но он привык к изысканной беседе мудрецов, и ему недоставало той властности и силы, которая покоряет чернь. Его не послушались. Камни и раковины градом сыпались на монаха, а он прикрывал собою Таис и возносил хвалы господу, по великой милости которого раны были ему сладостны, как ласка. Никий уже отчаялся воздействовать на толпу и ясно сознавал, что ему не спасти своего друга ни при помощи силы, ни путем уговоров; он уже примирился с этим и предоставил дальнейшее на волю богов, которым мало доверял, как вдруг ему пришла в голову уловка, подсказанная презрением к людям. Он отвязал от пояса кошель, туго набитый золотом и серебром, ибо он был человеком изнеженным и щедрым, потом подбежал к людям, швырявшим камнями, и стал позванивать возле них монетами. Сначала они не обращали на это внимания, до такой степени были разъярены; но понемногу их взоры стали обращаться в ту сторону, где позвякивало золото, и вскоре руки мучителей ослабли и перестали терзать жертву. Никий понял, что привлек к себе их взоры и души; тогда он развязал кошель и стал кидать в толпу пригоршни золотых и серебряных монет. Наиболее алчные бросились их подбирать. Философ обрадовался успеху своей затеи и продолжал ловко разбрасывать то тут, то там динарии и драхмы. Монеты со звоном падали на мостовую и подскакивали; заслышав эти звуки, скопище преследователей ринулось на землю. Нищие, рабы и торговцы в исступлении ползали на брюхе, а патриции, окружавшие Церонта, потешались этим зрелищем и громко хохотали. Даже сам Церонт забыл о своем негодовании. Его приятели подстрекали валявшихся сопер-

ников, намечали сильнейших и держали на них пари, а когда среди ищущих вспыхивали ссоры, они подзадоривали несчастных, как науськивают сцепившихся собак. Какому-то безногому удалось схватить драхму, и это вызвало восторженные крики. Молодые люди тоже стали бросать монеты, и вся площадь покрылась спинами, которые под медным дождем сталкивались друг с другом, словно волны разбушевавшегося моря. Пафнутий был забыт.

Никий подбежал к нему, накрыл своим плащом и повлек его вместе с Таис в соседние переулки, куда за ними уже никто не последовал. Некоторое время они бежали молча, потом, сочтя себя вне опасности, замедлили шаг, и Никий сказал с какой-то грустной иронией:

— Итак, свершилось! Плутон похищает Прозерпину, и Таис готова уйти от нас с моим суровым другом.

— Да, Никий,— отвечала Таис.— Я устала от жизни среди таких людей, как ты,— улыбающихся, умащенных благовониями, вежливых, себялюбивых. Я устала от всего, что знаю, и я отправляюсь на поиски неведомого. Я убедилась, что радость — не радость, а этот человек учит меня, что истинная радость в страдании. Я ему верю, потому что он обладает истиной.

— А я, друг мой,— с улыбкой возразил Никий,— я обладаю истинами. У него только одна истина, а у меня они все. Я богаче, чем он; но, по правде говоря, я от этого не счастливее и отнюдь не горжусь этим.

Видя, что монах бросает на него огненные взгляды, он сказал:

— Любезный Пафнутий, не думай, что ты представляешься мне особенно нелепым или хотя бы неразумным. Если сравнить мою жизнь с твоею, я не решусь сказать, которая из них сама по себе предпочтительней.

Сейчас я приму ванну, которую Кробила и Миртала приготовят для меня, съем крылышко фазана, потом в сотый раз прочту какую-нибудь милетскую сказку или один из трактатов Метродора *. Ты же вернешься в свою келью, станешь, как покорный верблюд, на колени и будешь перебирать, словно жвачку, какие-то старые колдовские заклинания, уже жеваные и пережеваные тысячи раз, а вечером поешь репы без масла. Так вот, дорогой мой, совершая эти поступки, на первый взгляд столь различные, мы оба подчиняемся одному и тому же чувству — единственному двигателю всех человеческих деяний; каждый из нас стремится к тому, что радует его, и цель у всех нас одна и та же — счастье, несбыточное счастье. Поэтому несправедливо было бы осуждать тебя, друг мой, раз я не осуждаю самого себя. А ты, моя Таис, ступай и радуйся; будь, если это возможно, еще счастливее в воздержании и лишениях, чем ты была в богатстве и утехах. В сущности тебе, я думаю, можно позавидовать. Ибо если мы с Пафнутием в течение всей своей жизни стремились, соответственно нашей природе, только к одному виду счастья, ты, любезная Таис, испытаешь в жизни противоречащие друг другу радости, а это суждено лишь немногим. Право, я хотел бы хоть на час стать праведником вроде нашего дорогого Пафнутия. Но мне этого не дано. Итак, прощай, Таис! Иди туда, куда влекут тебя сокровенные силы твоего существа и твоей судьбы. Иди, и да сопутствуют тебе добрые пожелания Никия. Я сознаю их тщету; но чем, кроме бесплодных сожалений и ненужных пожеланий, я могу одарить тебя в награду за восхитительные мечты, которыми опьянялся я некогда в твоих объятиях и тень которых еще витает возле меня? Прощай, благодетельница! Прощай, душа, не познавшая самое себя, прощай, таинственная добро-

детель, услада людей. Прощай, восхитительнейший из образов, когда-либо оброненных природой с какой-то неведомой целью в этот обманчивый мир!

Пока он говорил, в сердце монаха нарастала глухая ярость; наконец она излилась в неистовой брани:

— Прочь отсюда, проклятый! Я презираю и ненавижу тебя! Прочь, исчадье ада, в тысячу раз гнуснейшее, чем те жалкие слепцы, которые только что хулили меня и швыряли в меня камнями! Они не ведали, что́ творят, и милосердие господне, которое я призываю на них, еще может коснуться их сердец. Но ты, ненавистный Никий, ты коварный яд, ты разъедающая отрава! Дыхание твое несет с собою отчаяние и смерть. В одной твоей улыбке больше богохульств, чем их срывается за целый век с дымящихся уст сатаны. Отыди, окаянный!

Никий смотрел на него с нежностью.

— Прощай, брат мой,— сказал он.— И да будет тебе дано до последнего часа сохранить сокровище твоей веры, твоей ненависти и любви. Прощай! Таис, мне безразлично, что ты забудешь меня: я-то ведь сохраню о тебе память!

Он расстался с ними и побрел, задумавшись, по извилистым улицам, примыкавшим к большому александрийскому некрополю. Здесь жили гончары, изготовлявшие погребальные урны. Их лавочки были полны глиняными, раскрашенными в светлые цвета фигурками, изображавшими богов и богинь, мимов, женщин, крылатых гениев, которых принято было хоронить вместе с покойниками. Он подумал о том, что некоторые из этих хрупких фигурок, лежащих сейчас перед его глазами, быть может станут его спутниками, когда он уснет навеки, и ему показалось, будто маленький Эрот, задрав тунику, заливается задорным

смешком. Мысль о его собственных похоронах, которые он заранее представил себе, была ему тягостна. Чтобы как-нибудь развеять грусть, он стал философствовать и построил следующее рассуждение.

«Конечно, — думал он, — время лишено реальности. Оно только призрак, порожденный нашим умом. А раз оно не существует, как же может оно принести мне смерть?.. Значит ли это, что я буду жить вечно? Нет, но из этого я заключаю, что смерть моя все же существует и всегда была в такой же мере, в какой будет. Я еще не чувствую ее, однако она есть, и мне не следует ее страшиться, ибо было бы безумием бояться появления того, что уже появилось. Она существует, как последняя страница книги, которую я читаю, но еще не дочитал».

Это рассуждение, хоть и не радовало его, все же занимало его мысли всю дорогу; он подошел к своему дому, охваченный безысходной тоской, и услыхал веселый смех Кробилы и Миртала, которые в ожидании хозяина развлекались игрой в мяч.

Пафнутий и Таис вышли из города через Лунные ворота и отправились в путь по берегу моря.

— Женщина,— говорил монах,— всему этому необъятному синему морю не смыть твоей скверны.

Он говорил гневно и презрительно:

— Ты бесстыжа, как сука и свинья, ты отдавала язычникам и неверным тело, которое создал Предвечный, чтобы оно служило ему дарохранительницей, и грехи твои столь тяжки, что теперь, когда ты познала истину, ты уже не можешь сомкнуть уста или сложить руки без того, чтобы сердце твое не дрогнуло от омерзения.

Она покорно шла вслед за ним кремнистыми тропами, под палящим солнцем. Ноги ее ныли от усталости, гортань горела от жажды. Но Пафнутий, чуждый ложному состраданию, растлевающему сердца безбожников, радовался искупительным мукам, которые претерпевает эта грешная плоть. Он горел благочестивым рвением, и ему хотелось бы исполосовать бичом это тело, все еще сохраняющее красоту как непреложное доказательство своего непотребства. Мысли, осаждавшие монаха, все больше и больше распаляли его священный гнев, и когда он вспомнил, что Таис принимала на своем ложе Никия, он представил себе это с такой отвратительной ясностью, что сердце его залилось кровью и грудь готова была разорваться. Проклятия не находили себе исхода и сменились скрежетом зубовным. Он рванулся вперед, стал перед нею бледный, страшный, преисполненный духа божия, пронзил ее взглядом до самых глубин души и плюнул ей в лицо.

Она смиренно утерлась и продолжала идти. Теперь он следовал позади, и взор его был к ней прикован, как к бездне. Он шел, объятый благочестивым гневом. Он собирался отомстить за Христа, дабы Христос не отомстил сам, и вдруг увидел, что с ноги Таис стекла на песок капля крови. Тогда он почувствовал, что какое-то свежее дуновенье ворвалось в его раскрывшееся сердце; рыдания подступили к его губам, и он заплакал; бросившись вперед, он преклонился перед нею, называл ее сестрою и лобзал ее окровавленные ноги. Он без конца шептал:

— Сестра моя, сестра! Матерь моя, святая!

Он молился:

— Ангелы небесные! Примите эту драгоценную каплю и вознесите ее к престолу всевышнего. И да расцветет чудесная лилия на песке, орошенном кровью

Таис, дабы всякий, кто увидит этот цветок, обрел непорочность сердца и чувств. О святая, святая, о пресвятая Таис!

Пока он так молился и пророчествовал, с ними поравнялся юноша, ехавший на осле. Пафнутий велел ему слезть, посадил на осла Таис, а сам взялся за повод и снова отправился в путь. К вечеру они добрались до источника, осененного густыми деревьями; Пафнутий привязал осла к стволу финиковой пальмы и, присев на замшелый камень, преломил хлеб, который они с Таис и съели, приправив его иссопом и солью. Они пили с ладони студеную воду и беседовали о вечных истинах. Она говорила:

— Я никогда не пила такой чистой воды и не дышала таким легким воздухом, а в дуновениях ветерка я чувствую присутствие самого бога.

Пафнутий отвечал:

— Видишь, сестра моя, теперь вечер. Синие ночные тени обволокли холмы. Но скоро ты узришь освещенную зарей скинию жизни, скоро узришь сияющие розы немеркнущего утра.

Они шли всю ночь; тонкий серп месяца серебрил гребни волн, а они пели псалмы и гимны. Когда взошло солнце, пустыня развернулась перед ними, как огромная львиная шкура на ливийской земле. Вдали, на самой грани песков, виднелись белые шатры и пальмы, освещенные зарей.

— Это скинии жизни, отче? — спросила Таис.

— Воистину так, дочь моя и сестра. Это обитель спасения, в которую я заключу тебя собственными руками.

Вскоре им стали встречаться женщины, которые хлопотали возле келий, как пчелы вокруг ульев. Одни пекли хлеб или варили овощи; многие пряли шерсть, и свет небесный освещал их, как божья улыбка. Иные

предавались созерцанию, укрывшись под сенью деревьев; их белые руки безжизненно свисали, ибо женщины эти, преисполнившись любви, избрали участь Магдалины и потому ничем не занимались, а проводили время в молитве, созерцании и благочестивых восторгах. Их звали Мариями, и одежды на них были белые. Те же, которые работали, звали Марфами *, и одеты они были в синее. Все они ходили в покрывалах, но у самых молоденьких на лбу выбивались завитки волос; вероятно, так случалось помимо их воли, ибо уставом это было запрещено. Высокая, седая и очень старая женщина ходила из кельи в келью, опираясь на крепкий деревянный посох. Пафнутий почтительно подошел к ней, приложился к краю ее покрывала и сказал:

— Мир господень да пребудет с тобою, досточтимая Альбина. Я привел в улей, над которым ты царствуешь, заблудшую пчелку, подобранную мною на дороге, где не было цветов. Я положил ее на ладонь и согрел своим дыханием. Передаю ее тебе.

И он пальцем указал на лицедейку, а та преклонилась перед дочерью цезарей.

Альбина на мгновение остановила на Таис проницательный взгляд, потом велела ей встать, поцеловала в лоб и, обернувшись к монаху, сказала:

— Она будет у нас среди Марий.

Тут Пафнутий рассказал игуменье, какие пути привели Таис в обитель спасения, и попросил, чтобы сначала ее заключили в одиночную келью. Игуменья снизошла к его просьбе и отвела кающуюся в хижину, которая была освящена пребыванием в ней Леты, а ныне пустовала после кончины этой непорочной девы. В этой тесной каморке помещались только кровать, стол и кувшин. Когда Таис переступила порог кельи, ее охватила неизреченная радость.

— Я хочу сам запереть дверь,— сказал Пафнутий,— и наложить печать, которую Христос сломит собственной рукой.

Он взял возле колодца пригоршню сырой глины, положил в нее свой волос и, добавив немного слюны, вмазал глину в дверную щель. Потом он подошел к оконцу, у которого стояла умиротворенная и радостная Таис, пал на колени, трижды восславил господа и воскликнул:

— Как хороша идущая по тропам жизни! Как прекрасны ее ноги и как лучезарен ее лик!

Он встал, опустил куколь до самых глаз и медленно удалился.

Альбина подозвала одну из монахинь.

— Дочь моя,— сказала она,— отнеси Таис все необходимое: хлеба, воды и трехдырчатую флейту.

Евфорбия

Пафнутий вернулся в священную пустыню. Около Атриба он сел на корабль, направлявшийся вверх по течению Нила с продовольствием для обители игумена Серапиона. Когда Пафнутий сошел на берег, его с великой радостью встретили ученики. Одни воздевали руки; другие, простершись на земле, лобзали его сандалии. Ибо им уже известно стало все, что совершил праведник в Александрии. Монахи всегда какими-то неведомыми и скорыми путями узнавали обо всем, что касалось благоденствия и славы Церкви. Вести разносились по пескам с быстротой самума.

Пафнутий направился в глубь пустыни, а ученики следовали за ним, воздавая хвалу господу. Флавиан, старшина общины, внезапно загорелся благоговейным восторгом и стал петь вдохновенный псалом:

— Да будет благословен этот день! Вот отец наш вернулся к нам!

Он вернулся, украшенный новыми подвигами, а славные деяния его зачтутся и нам!

Ибо достоинства отца составляют богатство детей и святость настоятеля разливается благоуханием по всем кельям.

Отец наш Пафнутий привел ко Христу еще одну невесту.

Дивным умением своим он превратил черную овцу в белого агнца.

И вот он возвращается к нам, украшенный новыми подвигами,

Подобно арсинойской пчеле, обремененной цветочным нектаром,

Совсем как нубийский баран, изнемогающий под тяжестью своего обильного руна.

Отпразднуем день сей, приправив пищу нашу оливковым маслом!

Подойдя к пастырской келье, ученики преклонили колена и сказали:

— Благослови нас, отче, и надели каждого меркою масла, дабы мы достойно отпраздновали твое возвращение!

Один только Павел Юродивый не стал на колени; он не узнал Пафнутия и спрашивал у всех: «Что это за человек?» Но на слова его никто не обращал внимания, потому что всем было известно, что он убог разумом, хоть и весьма благочестив.

Оставшись один в келье, антинойский настоятель размышлял:

«Вот я, наконец, снова в приюте тишины и радости. Вот я вернулся в обитель безмятежности. Почему же любезная моему сердцу соломенная кровля не приветствует меня как друга и стены не говорят мне: «Добро

пожаловать!» Ничто со времени моего ухода не изменилось в этом несравненном жилище. Вот мой стол, вот одр мой. Вот голова мумии, столько раз внушавшая мне спасительные мысли, и вот книга, в которой я так часто искал лика божьего. Но я не нахожу ничего из того, что оставил здесь. Все утратило в моих глазах обычную прелесть, и мне кажется, будто я вижу эти вещи в первый раз. Стол и ложе, которые я некогда сделал собственными руками, черная иссохшая голова, свитки папируса со словами, изреченными самим богом,— все это кажется мне утварью какого-то мертвеца. Я так хорошо знал эти вещи, а теперь не узнаю их. Увы! Раз в действительности ничто вокруг меня не изменилось, значит сам я уже не тот, каким был. Я стал другим. Мертвец этот был я! Что же с ним сталось? Что унес он с собою? Что он мне оставил? И кто я теперь?»

Особенно тревожило его то, что помимо его воли келья теперь казалась ему маленькой и тесной, в то время как в глазах верующего она должна быть необъятной, ибо она — начало божественной бесконечности.

Он начал молиться, припав к земле, и на душе его стало немного легче. Но не провел он в молитве и часа, как образ Таис мелькнул перед его глазами. Он возблагодарил господа:

— Иисусе! Это ты посылаешь мне ее. Узнаю твое великое милосердие: ты хочешь, чтобы я возликовал, успокоился и умиротворился при виде той, которую я привел к тебе. Ты являешь мне ее улыбку, отныне уже не тлетворную, ее прелесть, отныне непорочную, ее красоту, жало которой я вырвал. Чтобы порадовать меня, ты мне показываешь ее, господи, очищенной и украшенной мною для тебя,— подобно тому как друг с улыбкой напоминает другу о приятном даре, полу-

ченном от него. Я верю, что видение послано тобою, и поэтому взираю на эту женщину с радостью. По благости своей ты не забываешь; Иисусе, что она приведена к тебе мною. Храни же ее, раз она тебе угодна, и не давай прелестям ее снять ни для кого, кроме тебя.

Всю ночь он не смыкал глаз, и Таис представлялась ему даже явственнее, чем он видел ее в гроте Нимф. Он оправдывался, говоря:

— Свершенное мною совершено во славу господню.

И все же, к великому удивлению своему, он не находил покоя. Он вздыхал:

— Почто грустишь ты, душа моя, и почто смущаешь меня?

И душа его томилась. Тридцать дней пребывал он в тоске и печали, а для отшельника — это предвестие суровых испытаний. Образ Таис не покидал его ни днем, ни ночью. Он не гнал его от себя, потому что все еще полагал, что видение ниспослано ему богом и что это образ праведницы. Но однажды, под утро, Таис явилась ему в сновидении с венком из фиалок на голове, и от нежности ее веяло такою страшной силой, что монах закричал и тут же проснулся, обливаясь холодным потом. Не успел он еще открыть глаза, как почувствовал какое-то горячее и влажное дуновение: маленький шакал взобрался передними лапами на койку и хохотал, обдавая его лицо зловонным дыханием.

Пафнутий несказанно удивился, и ему показалось, будто некая неприступная твердыня рушится под ним. И в самом деле, он низвергался с высот своей веры. Некоторое время он не мог собраться с мыслями; наконец он немного успокоился, но, подумав, пришел в еще большую тревогу.

«Одно из двух,— думал он,— либо видение это, как и все прежние, от господа; оно было благостно,

и лишь греховность моя извратила его, подобно тому как грязный сосуд портит доброе вино. Будучи недостойным его, я обратил назидание в соблазн, а бесовский шакал тотчас же воспользовался этим. Либо видение было не от господа, а, наоборот, от дьявола и потому несло с собою пагубу. А если так, кто же мне поручится, что предыдущие видения были ниспосланы мне с небес, как я верил до сих пор? Значит, мне не дано распознавать их, а такое умение необходимо отшельнику. И в том и в другом случае бог отвращает от меня лик свой, я чувствую это, но причины понять не могу».

Так рассуждал он и в отчаянии вопрошал:

— Боже милосердный, каким же испытаниям подвергаешь ты твоих служителей, раз созерцать праведниц столь опасно для них! Дай мне каким-нибудь ясным знаком понять, что́ исходит от тебя и что́ от другого!

Но бог, чьи пути неисповедимы, не счел нужным просветить своего служителя, и Пафнутий, ввергнутый в сомнения, решил больше не думать о Таис. Однако решение его оказалось бесплодным. Отсутствующая находилась возле него неотступно. Она смотрела на него, когда он читал, когда размышлял, созерцал и молился. Ее бесплотному появлению предшествовал легкий шорох, вроде шороха женского платья, и видения приобретали такую ясность, какой никогда не бывает у образов реального мира, ибо последние сами по себе зыбки и изменчивы, тогда как призраки, порожденные одиночеством, наделены его сокровенными свойствами и несокрушимой стойкостью. Таис являлась ему в различных обликах: то задумчивая, с челом, увенчанным ее последним бренным венком, в том самом наряде, в каком она присутствовала на пиру в Алексан-

дрии — в лиловато-розовой тунике, усеянной серебряными цветами; то сладострастиая, овеяииая облаком легчайших покрывал и теплыми теиями грота Нимф; то благочестивая и сияющая иеземиой радостью, в монашеской рясе; то трагическая, со взглядом, исполненным смертного ужаса, с обиажеииой грудью, по которой струится кровь ее пронзенного сердца. Всего больше смущало его в этих видениях то, что ведь все эти веики, туники, покрывала он сжег своими собственными руками,— и вот оии являлись виовь. У иего ие оставалось иикаких сомиеиий в том, что вещи эти иаделеиы иеумирающей душой, и ои восклицал:

— Вот являются ко мне души неисчислимых грехов Таис!

Когда он отворачивался, ои чувствовал присутствие Таис у себя за спиной, и это еще больше волиовало его. Он жестоко страдал. Но и душа и тело его среди всех этих соблазиов оставались иепорочиыми, поэтому ои твердо уповал иа господа и лишь кротко пеиял ему:

— Боже мой! Я ведь отправился за ией в такую даль, к язычникам, ради тебя, а не ради себя. Будет иесправедливо, если я пострадаю за то, что сделал в угоду тебе. Заступись за меия, сладчайший Иисусе! Спаситель мой, спаси меия! Не допусти, чтобы призраку удалось то, что не удалось живому телу. Я восторжествовал иад плотью, не дай же призраку сразить меия. Чувствую, что ныие я подвергаюсь таким опасиостям, каким не подвергался еще иикогда. Я убеждаюсь и зиаю, что мечта могущественнее действительности. Да и как может быть иначе, когда мечта есть высшая действительность? Мечта — душа вещей. Сам Платои, хоть и был идолопоклоииииком, признавал самодовлеющее бытие идей. В том бесовском соимище, куда ты сопутствовал мие, господи, я слышал, как люди,— правда, запятнанные

преступлениями, но все же не лишенные разума,— единодушно признавали, что в одиночестве, размышлениях и экстазе мы постигаем действительно существующие вещи; а в Писании твоем, господи, не раз говорится о природе снов и о могуществе видений, посылаемых как тобою, боже лучезарный, так и твоим супостатом.

В нем родился новый человек, и теперь он начинал рассуждать, обращаясь к богу, но бог не хотел вразумить его. Ночи превратились для него в бесконечное сновидение, а дни не отличались от ночей. Однажды утром он проснулся от собственных стонов, которые напоминали стенания, доносящиеся в лунные ночи из могил тех, кто стал жертвою злодеяния. Таис явилась ему с окровавленными ногами, и он горько заплакал, она же тем временем скользнула к нему в постель. Теперь он уже перестал сомневаться: видение Таис было видением нечистым.

Он с ужасом вскочил с оскверненного ложа и закрыл лицо руками, чтобы не видеть божьего света. Проходили часы, но чувство стыда не ослабевало. В келье царила полная тишина. Впервые за долгое время Пафнутий был один. Призрак, наконец, покинул его, но в самом его отсутствии было что-то жуткое. Ничто, ничто не отвлекало его мысль от сновидения. Он думал, терзаемый ужасом и отвращением: «Как же я не оттолкнул ее? Как не вырвался из ее холодных рук и обжигающих колен?»

Он уже не осмеливался произнести имя божье возле этого гнусного ложа и боялся, как бы в оскверненную келью не стали в любое время беспрепятственно проникать бесы. Опасения его оправдались. Семь маленьких шакалов, не смевших дотоле переступить его порог, теперь гуськом вошли в келью и забились под ложе. В час, когда должна была начаться вечерня, он заметил

еще одного, восьмого, шакала, испускавшего острое зловоние. На другой день появился девятый, и вскоре их собралось уже тридцать, потом шестьдесят, потом восемьдесят. Преумножаясь, они становились все мельче и, став величиною с крысу, заполнили всю келью, ложе и скамью. Один из них прыгнул на деревянную полочку у изголовья одра, всеми четырьмя лапками вскарабкался на мертвую голову и уставился на монаха горящими глазками. И с каждым днем появлялись все новые и новые шакалы.

Дабы искупить греховное сновидение и бежать от нечистых мыслей, Пафнутий решил оставить келью, отныне для него омерзительную, и в недрах пустыни подвергнуть плоть свою неслыханному истязанию, заняться тяжелым трудом и новым подвижничеством. Но прежде чем осуществить это намерение, он отправился к старцу Палемону, чтобы испросить его совета.

Пафнутий застал праведника в садике за поливкой овощей. День угасал. Нил принял голубоватый оттенок, и воды его текли у подножья лиловых холмов. Старец ступал осторожно, чтобы не вспугнуть голубка, сидевшего у него на плече.

— Господь да не оставит тебя, брат Пафнутий,— сказал он.— Преклонись пред его милосердием: он посылает ко мне твари, созданные им, чтобы я побеседовал с ними о его творениях и возвеличил его в птицах небесных. Взгляни на этого голубка, посмотри, как переливаются краски на его шейке, и скажи, не прекрасно ли это божье создание? Но ты, брат мой, вероятно, хочешь поговорить со мною о божественном? Если так, я отставлю лейку и внимательно выслушаю тебя.

Пафнутий поведал старцу о своем странствии, о возвращении, о видениях последних дней, о том, что

ему снится по ночам, не утаив и греховного сна и появления стаи шакалов.

— Не думаешь ли, отче,— спросил он,— что мне следует удалиться в глубь пустыни, дабы заняться там невиданным трудом и посрамить дьявола жесточайшим умерщвлением плоти?

— Я всего лишь жалкий грешник,— отвечал Палемон,— и плохо разбираюсь в людях, потому что всю жизнь провел в этом саду, с газелями, зайчатами и голубями. Но мне думается, брат мой, что недуг твой происходит оттого, что ты опрометчиво перешел сразу от мирских волнений к покою одиночества. Такие резкие перемены всегда пагубны для здравия души. Ты, брат мой, уподобился человеку, который почти одновременно подвергает себя сильному жару и сильному холоду. Его мучит кашель и трясет лихорадка. На твоем месте я, брат Пафнутий, не только не удалился бы теперь в суровую пустыню, а, наоборот, прибегнул бы к каким-нибудь развлечениям, приличествующим иноку и настоятелю. Я посетил бы окрестные монастыри. Говорят, среди них есть превосходные. Обитель игумена Серапиона насчитывает, как я слышал, тысячу четыреста тридцать две кельи, и монахи разделены там на братства, число коих равняется числу букв греческого алфавита. Уверяют даже, что при делении монахов принимается во внимание соответствие их характеров с формой объединяющей их буквы и что, например, те, которые значатся под литерой «Z», отличаются нравом переменчивым, те же, которые объединены под знаком «I», наделены стойкостью и прямодушием. На твоем месте, брат мой, я отправился бы самолично убедиться в этом и не успокоился бы до тех пор, пока не увидел собственными глазами столь диковинный порядок. Я ознакомился бы с уставами многочисленных общин,

рассеянных по берегам Нила, и сравнил бы одну с другой. Эти занятия вполне приличествуют такому монаху, как ты. До тебя, вероятно, дошли слухи о том, что игумен Ефрем сочинил правила для иноков, преисполненные великого благолепия. Ты мог бы испросить у него позволения и переписать их; ты ведь изрядный грамотей. Мне бы с этим не справиться, да и у рук моих, привыкших орудовать лопатой, недостало бы гибкости, чтобы водить по папирусу заостренным тростником. Ты же, брат мой, знаешь грамоте, и за то — хвала господу, ибо хорошее письмо всегда радует душу. Труд переписчика и чтеца весьма полезен против дурных помыслов. А почему бы, брат Пафнутий, не записать тебе поучения отцов наших Павла и Антония? В этих благочестивых занятиях ты постепенно вновь обретешь умиротворение души и тела; отшельничество вновь станет любезно твоему сердцу, и вскоре ты снова сможешь посвятить себя подвижничеству, прерванному твоей отлучкой. Но от излишнего самобичевания большой пользы ожидать нельзя. Отец наш Антоний, когда жил среди нас, часто говаривал: «Излишний пост вызывает слабость, а слабость порождает нерадение. Некоторые монахи изнуряют тело неумеренно долгим воздержанием. О них можно сказать, что они вонзают себе в грудь кинжал и бездыханными предаются в руки дьявола». Так говорил святой муж Антоний. Я всего лишь невежда, но, с божьей помощью, я твердо запомнил его пастырские поучения.

Пафнутий поблагодарил Палемона и обещал подумать над его советами. Он вышел за живую изгородь, опоясывавшую садик, обернулся и увидел, что добрый садовник поливает овощи, а на собственной его спине покачивается голубок. И, когда он увидел это, на глаза его навернулись слезы.

Возвратясь к себе в келью, он заметил в ней какое-то странное кишение. Оно напоминало шуршание песчинок, поднятых бешеным вихрем, и Пафнутий понял, что это мириады крошечных шакалов. В ту ночь ему приснилась высокая каменная колонна, на вершине которой стоял человек, и он услышал голос, сказавший:

— Взойди на этот столп.

Он проснулся, убежденный в том, что сон этот послан ему небесами, собрал учеников своих и обратился к ним с таким словом:

— Возлюбленные чада мои, покидаю вас, дабы направить стопы свои туда, куда посылает меня господь. Пока меня не будет с вами, слушайтесь Флавиана как меня самого и не оставляйте попечения о брате вашем Павле. Да снизойдет на вас благословение господне. Мир вам.

Он стал удаляться, а ученики его простерлись на земле; когда же они подняли головы, они увидели очертания его высокой черной фигуры уже среди песков, у самого горизонта.

Он шел день и ночь, пока не добрался до развалин храма, некогда воздвигнутого язычниками; здесь ему однажды, во время его чудесного путешествия, уже довелось переночевать среди скорпионов и сирен. Тут все так же возвышались стены, испещренные колдовскими знаками. Тридцать гигантских колонн, украшенных человеческими головами или цветами лотоса, все еще поддерживали каменные архитравы. Только в углу храма одна из колонн сбросила с себя вековую ношу и стояла свободная. Капителью ей служила голова улыбающейся женщины с продолговатыми глазами, пухлыми щечками и коровьими рогами на лбу.

Пафнутий взглянул на колонну и узнал в ней ту самую, что была явлена ему во сне; высоту ее он определил в тридцать два локтя. Он отправился в соседнюю деревню и заказал лестницу соответствующей длины, а когда лестницу приставили к столпу, он взошел на него, преклонил колени и обратился к господу:

— Боже мой! Вот жилище, которое ты уготовил мне. Сподоби же меня остаться здесь вплоть до смертного моего часа.

Он не взял с собою ничего съестного, ибо полагался на божественное провидение и надеялся, что сердобольные поселяне не оставят его без пищи. И действительно, на другой день, в час полуденной молитвы, к нему пришли женщины с детьми и принесли хлебы, финики и свежую воду, а мальчики подняли все это на вершину столпа.

Капитель колонны была невелика по площади, так что монах не мог растянуться на ней; поэтому он спал, поджав под себя ноги и склонив голову на грудь, и сон становился для него еще худшей мукой, нежели бодрствование. На заре ястребы задевали его своими крыльями, и он просыпался в тоске и ужасе.

Оказалось, что плотник, сколотивший для него лестницу, человек богобоязненный. Он беспокоился, что у праведника нет защиты от солнца и дождей, и опасался, как бы тот во сне не упал со столпа; поэтому благочестивый плотник соорудил на колонне навес и окружил оградою ее вершину.

Между тем молва о столь дивной жизни распространялась от деревни к деревне, и по воскресеньям из долины стали стекаться крестьяне с женами и детьми, чтобы посмотреть на столпника. Ученики Пафнутия, с восторгом узнав о месте его священного уединения, пришли к нему и испросили благословения построить

хижины у подножия столпа. По утрам они собирались вокруг наставника, и он обращался к ним со словами поучения.

— Чада мои,— говорил он,— уподобьтесь младенцам, коих возлюбил Христос. В этом спасение. Плотский грех — источник и основа всех прочих грехов: все они исходят от него, как дети от отца. Гордыня, жадность, гнев, леность и зависть — его возлюбленные чада. Вот что я видел в Александрии: я видел, как грех любострастия, словно мутная река, захватывает богачей и ввергает их в зловонную пучину.

Когда известие дошло до игуменов Ефрема и Серапиона, они пожелали собственными глазами увидеть столпника. Заметив вдали на реке треугольный парус лодки, на которой игумены плыли к нему, Пафнутий невольно подумал, что господь поставил его примером для прочих отшельников. При виде столпника святые отцы не могли скрыть своего крайнего изумления. Они посовещались между собою и, придя к выводу, что столь странный вид покаяния достоин осуждения, стали увещевать Пафнутия, убеждая его спуститься.

— Такая жизнь несообразна с обычаями,— говорили они.— Это неслыханно и противно уставу.

Но Пафнутий отвечал:

— А разве монашеская жизнь сама по себе не чудесна? И разве подвиги отшельника не должны быть необыкновенными, как и он сам? Я взошел сюда по знаку господню, и только по знаку господню сойду я вниз.

С каждым днем стекались все новые толпы монахов; они присоединялись к ученикам Пафнутия и строили себе жилища вокруг его воздушной кельи. Многие из них, в подражание святому, взобрались на развалины

храма; но другие порицали их, и, побежденные усталостью, они вскоре отказались от такого подвига.

Паломники все прибывали. Некоторые приходили издалека и изнемогали от голода и жажды. Некоей бедной вдове пришла в голову мысль продавать им свежую воду и арбузы. Она стояла, прислонившись к колонне, возле глиняных кувшинов, чаш и плодов, прикрытых холстиной в белую и синюю полоску, и кричала: «Кому воды, воды?» Булочник, следуя ее примеру, притащил кирпичей и соорудил рядом с нею печь, надеясь, что пришельцы будут покупать у него хлеб и лепешки. А толпы паломников все росли; сюда стали стекаться также и жители больших египетских городов; поэтому один жадный до наживы человек построил караван-сарай, чтобы в нем могли найти приют и господа со слугами, и верблюды их, и мулы. Вскоре вокруг колонны образовался базар, и нильские рыбаки стали приносить сюда рыбу, а огородники — овощи. Цирюльник, бривший желающих на открытом воздухе, забавлял толпу прибаутками. Старый храм, так долго погруженный в покой и безмолвие, теперь полнился неистихающим шумом и житейской суетой. Кабатчики переделывали подземные залы в погреба и прибивали к древним колоннам вывески, украшенные изображением праведника Пафнутия и гласившие по-гречески и египетски: «Здесь торгуют гранатовым вином, а также вином из смоквы и настоящим киликийским пивом». На стенах со старинными изваяниями торговцы развесили связки луковиц и копченой рыбы, тушки баранов и зайцев. По вечерам давнишние хозяева развалин — крысы — длинной вереницей устремлялись к реке, а встревоженные ибисы вытягивали шеи и с опаской садились на высокие карнизы, к которым снизу поднимался кухонный чад, крики посетителей и возгласы

служанок. Землемеры прокладывали вокруг развалин улицы, каменщики строили монастыри, часовни, храмы. Через полгода тут возник целый город со сторожевой службой, судом, тюрьмой и школой, которую держал дряхлый, ослепший писец.

Паломники сменяли паломников. Сюда съезжались епископы и викарии, и все дивились подвигу отшельника. Прибыл даже сам антиохийский патриарх со всей своей свитой. Он всенародно одобрил редкостный подвиг столпника, а пастырн ливийских общии в отсутствии Афанасия присоединились к мнению патриарха. Когда об этом узнали игумены Ефрем и Серапион, они преклонились перед Пафнутием, смиренно моля, чтобы он им простил их первоначальные сомнения. Пафнутий ответил им так:

— Знайте, братья, что покаяние, которое я несу, еще далеко не равносильно искушениям, ниспосланным мне; многообразие их и сила крайне изумляют меня. Когда смотришь на человека, он извне кажется маленьким, а с вершины столпа, на который господь возвел меня, люди и вовсе представляются муравьями. Но если заглянуть внутрь человека — он безмерен: он велик, как мир, ибо в нем заключен целый мир. Все, что расстилается предо мною — монастыри, харчевни, суда на реке, деревни, и то, что виднеется вдали — пашни, каналы, пески и горы, все это ничто по сравнению с тем, что во мне. Я несу в своем сердце неисчислимые города и бескрайние пустыни. И над всей этой безмерностью распростерлось зло; зло и смерть покрыли ее, как ночь покрывает землю. Да и сам я — целый мир греховных помыслов.

Он говорил так потому, что вожделел к женщине.

На седьмой месяц из Александрии, Бубаста и Саиса пришло много женщин, которые долгое время были

бесплодными и надеялись на помощь святого и благотворную силу столпа. Они терлись о колонну животами, не приносившими плода. Потом появились нескончаемые вереницы телег, возков и носилок, которые останавливались, сталкивались, теснились вокруг божьего человека. Из них выползали больные, на которых страшно было взглянуть. Матери протягивали к Пафнутию младенцев с пеной у рта, с вывернутыми конечностями, с закатившимися глазками и хриплым голосом. Он возлагал на них руки. Подходили слепцы с протянутыми вперед руками и наугад оборачивали к нему лица с двумя кровоточащими впадинами. Паралитики обнажали перед ним омертвевшие и неподвижные или исхудавшие и безобразно укороченные конечности; хромые оголяли свои изуродованные ноги; женщины, больные раком, брали обеими руками и выставляли напоказ груди, изъеденные невидимым коршуном. Страдающие водянкой просили положить их на землю, и тогда казалось, будто с повозки снимают наполненные бурдюки. Пафнутий благословлял страдальцев. Нубийцы, пораженные слоновой проказой, подходили грузной походкой, обращая к нему неподвижные лица с глазами, полными слез. Он осенял их крестным знамением. К нему поднесли на носилках девушку из Афродитополя, которая после кровавой рвоты спала уже четвертый день. Она стала похожа на восковой слепок, и родители, считая ее мертвой, уже возложили ей на грудь пальмовую ветвь. Пафнутий обратился к богу с молитвой, и девушка приподняла голову и открыла глаза.

В народе шли бесконечные толки о чудесах, совершенных святым; поэтому несчастные, страдавшие недугом, который греки назвали священным, несметными толпами стекались сюда со всех концов Египта.

Прн виде столпа у иих сразу же начинались судороги, оии падали на землю, корчились, катались клубком. И — диковииное дело — присутствующие при этом тоже начииалн бесиоваться, подражая судорогам припадочных. Монахн и паломники, мужчины и жеищины валялись вперемешку, бились с пеной у рта, с вывороченными конечиостями, пригоршиями ели землю и пророчествовали. А Пафнутий, стоя иа вершиие столпа, ощущал во всем теле какой-то особый трепет и кричал, обращаясь к богу:

— Я козел отпущеиия и вбираю в себя все грехи этих людей; вот почему, господи, все существо мое кишит злыми духами.

Всякого больного, который уходил исцелеиным, присутствующие провожали радостиыми возгласами, торжественно иесли его на руках и твердили:

— Нам дароваиа новая силоамская купель!

На чудотворном столпе уже виселн сотнн костылей; благодарные женщины вешалн у его подножия венки и обетные прииошения. Греки высекали иа нем изящные двустишия; каждый паломиик оставлял здесь свое имя, так что вскоре вся колониа иа высоту человеческого роста покрылась всевозможными иадписями на латииском, греческом, коптском, пуническом, еврейском, сирийском языках, а также магическими зиаками.

Когда иаступнл праздиик пасхн, в этот град чудес стеклось такое множество народа, что старикам казалось, будто вернулись времена древних мистерий. На обшириом пространстве смешались широкие пестрые одежды египтян, буриусы арабов, белые передники нубийцев, короткие хитоны греков, длнииые складчатые тогн римляи, пуицовые безрукавиые кафтаиы, и штаны варваров, и затканные золотом туники куртизанок. Приезжали на ослах жеищины в покрывалах,

предшествуемые черными евнухами, которые прокладывали им дорогу, размахивая палками. Акробаты, расстелив на земле коврик, показывали чудеса ловкости и жонглировали перед обступившими их зрителями. Заклинатели змей, вытянув руки, разматывали свои живые пояса. Все это скопище сверкало, блестело, пылило, звенело, кричало, рокотало. Брань погонщиков верблюдов, щелканье бичей, возгласы торговцев, предлагавших амулеты от порчи и проказы, гнусавое бормотанье монахов, певших стихи из Писания, завывания кликуш, взвизгиванья нищих, напевавших древние гаремные песни, блеяние баранов, ослиный рев, крики матросов, сзывавших замешкавшихся путешественников,— все эти звуки сливались в оглушительный гам, в котором выделялись резкие голоса голых негритят, сновавших под ногами и предлагавших свежие финики.

Весь этот разнообразный люд толкался под знойным небом, в тяжелом воздухе, насыщенном благовониями, веявшими от женщин, запахом негров, кухонным чадом и ароматом смолы, которую благочестивые христианки покупали у пастухов, чтобы воскурить его у подножья столпа.

Спускалась ночь; повсюду зажигались огни, факелы, светильники, а толпа превращалась в смутное скопище красных теней и черных силуэтов. Посреди слушателей, присевших на корточки, стоял старик, освещенный коптящей плошкой, и рассказывал, как некогда Битиу околдовал свое собственное сердце, вырвал его из груди, бросил в акацию и сам превратился в дерево. Старик широко размахивал руками, тень его вторила этим движениям, придавая им потешную несуразность, а зачарованные слушатели испускали восторженные воз-

гласы. В кабачках, развалясь на циновках, пьяницы требовали вина и пива. Танцовщицы с подведенными глазами и голым животом исполняли перед ними религиозные или похотливые сцены. В сторонке юноши играли в кости или в мо́ру, а старцы под покровом темноты преследовали блудниц. Над всем этим волнующимся многообразием одни только столп высился незыблемой твердыней; голова с коровьими рогами смотрела во мрак, а над нею, между землей и небом, бодрствовал Пафнутий. Вот над Нилом всплывает луна, словно обнаженное плечо какой-то богини. С холмов струится свет и лазурь, и Пафнутию кажется, будто он видит тело Таис, сверкающее в отсветах воды, среди сапфиров ночи.

Проходили дни, а праведник по-прежнему пребывал на столпе. Когда наступила пора дождей, небесные воды стали просачиваться сквозь крышу и заливать Пафнутия; руки и ноги его оцепенели, и он уже не мог двигаться. Кожа его, спаленная солнцем, растравленная росой, начала трескаться; глубокие язвы разъедали его тело. Но душа его сгорала от желания обладать Таис, и он кричал:

— Этого еще недостаточно, всемогущий боже! Еще искушений! Еще непотребных помыслов! Еще чудовищных вожделений! Господи, надели меня всею людской похотью, дабы я искупил ее всю! Если и неправда, что некая спартанская сука приняла на себя все грехи мира, как говорил мне когда-то один обманщик,— все же в сказке этой есть тайный смысл, и теперь я вполне разумею его. Ибо воистину вся гнусность народов вторгается в души праведников, чтобы исчезнуть там, как в бездонном колодце. Поэтому души святых осквернены больше, нежели души простых

грешников. И да будешь благословен ты, господи, что сделал меня сточною ямою мира.

Но вот в один прекрасный день до святого града дошла молва, которая всех всполошила и даже достигла слуха подвижника: важный сановник, один из знаменитейших государственных деятелей — сам начальник александрийского флота Люций-Аврелий Котта собирается сюда! Он уже едет, он недалеко!

Слух был верный. Старик Котта, обследовавший в ту пору каналы и судоходство на Ниле, неоднократно выражал желание взглянуть на столпника и на новый город, которому дали название Стилополиса. Однажды утром жители Стилополиса заметили, что вся река усеяна парусами. На борту золотой галеры, обтянутой пурпуром, ехал Котта, а за ним следовала целая флотилия. Он спустился на берег и пошел в сопровождении писца, несшего навощенные таблички, и врача Аристея, с которым он любил беседовать.

Позади шествовала многочисленная свита, и берег пестрел латиклавами и воинскими одеждами. Неподалеку от колонны Котта остановился и, утирая себе лоб краем тоги, стал рассматривать столпника. Он был от природы любознателен и много видел во время своих длительных путешествий. Он любил вспоминать прошлое и намеревался, после того как закончит историю пунических войн, написать книгу о диковинных вещах, которые ему довелось видеть. Зрелище, представившееся ему, по-видимому, очень занимало его.

— До чего странно! — говорил он, тяжело дыша и обливаясь потом.— И удивительнее всего то, что этот человек был моим гостем. Да, в прошлом году монах однажды ужинал у меня и после этого похитил танцовщицу.

Он обернулся к писцу:

— Отметь это, сынок, на табличке, равно как и размеры колонны. Не забудь указать и форму капители.

Потом он снова утер лоб и добавил:

— Люди, достойные доверия, клялись мне, будто он сидит на столпе уже целый год и ни разу с него не спускался. Аристей, возможно ли это?

— Возможно для сумасшедшего или больного, но немыслимо для человека, здорового телом и душой,— отвечал Аристей.— Разве ты не знаешь, Люций, что некоторые душевные и телесные недуги наделяют больных такими способностями, каких не бывает у здоровых? Да и, в сущности говоря, нет ни больных, ни здоровых. Есть только различные состояния органов. Чем больше я изучаю то, что зовется недугами, тем больше убеждаюсь, что болезни надо считать неизбежными явлениями жизни. Я охотнее изучаю их, чем лечу. Некоторые из них нельзя наблюдать без восторга, ибо на первый взгляд они нарушают порядок, а в действительности полны глубокой гармонии. Право же, перемежающаяся лихорадка — прекрасная вещь! Иной раз телесные немощи влекут за собою неожиданное обострение умственных способностей. Ты знаком с Креоном. В детстве он был дурачок и заика. Но однажды он упал с лестницы и проломил себе череп, а после этого стал превосходным адвокатом, каким ты его и знаешь. По-видимому, и у этого монаха поврежден какой-нибудь внутренний орган. Впрочем, его образ жизни не так уж необычен, как тебе кажется, Люций. Вспомни индийских гимнософистов, которые могут пребывать в полной неподвижности не только что год, но даже двадцать, тридцать и сорок лет.

— Клянусь Юпитером, вот нелепость! — воскликнул Котта.— Ведь человек родится, чтобы действовать,

а косость — непростительное преступление, ибо она наносит ущерб государству. Не знаю, с какими верованиями сопряжен столь пагубный предрассудок. Вероятно, тут сказываются некоторые азиатские вероучения. Когда я был губернатором Сирии, я видел на пропилеях Гиераполя изображения фаллуса. Два раза в год кто-нибудь из мужчин поднимается на пропилеи и проводит там семь дней. Народ уверен, что этот человек беседует с богом и вымаливает у него благоденствие Сирии. Такой обычай представлялся мне бессмысленным, однако я не старался искоренить его. Я ведь считаю, что хороший правитель должен не препятствовать народным обычаям, а, наоборот, всячески поддерживать их. Не дело государства навязывать народу какие-либо верования; его обязанность — покровительствовать существующим религиозным представлениям, потому что — плохи ли они, хороши ли — они предопределены духом времени, места и расы. Если государство начинает бороться с ними, оно становится нетерпимым по духу, самоуправным в своих действиях и вызывает справедливое озлобление. Да и можно ли возвыситься над суевериями черни иначе, как только поняв и примирившись с ними? Аристей, я того мнения, что этого тучежителя надо оставить в покое; пусть себе парит в воздухе, не терпя обид ни от кого, кроме птиц. Не насилием могу я справиться с ним, а только считаясь с его верованиями и его образом мыслей.

Он отдышался, покашлял и, положа руку на плечо писца, сказал:

— Запиши, сынок, что некоторые христианские секты считают похвальным похищать куртизанок и жить на колониях. Можешь добавить, что такой обычай

связан, по-видимому, с культом оплодотворения. Но об этом всего лучше спросить у него самого.

Котта поднял голову, заслонился от солнца рукою и закричал:

— Эй, Пафнутий! Помнишь, ты был у меня в гостях? Так ответь же мне. Что ты там делаешь? Зачем ты забрался на такую высь и зачем там поселился? Придаешь ли ты этому столпу некий фаллический смысл?

Приняв во внимание, что Котта — язычник, Пафнутий не удостоил его ответом. Зато ученик столпника, Флавиан, подошел к Котте и сказал:

— Сиятельнейший владыка, этот праведник берет на себя грехи мира и врачует болезни.

— Клянусь Юпитером! Ты слышал, Аристей? — воскликнул Котта.— Этот тучежитель занимается, как и ты, врачеванием! Что скажешь о собрате, достигшем таких вершин?

Аристей покачал головой:

— Вполне возможно, что кое-какие болезни он излечивает и лучше меня, например, падучую, которую в народе называют священной болезнью, хотя и вообще-то все болезни священны, раз все они от богов. Но причина падучей частично коренится в воображении больного, а согласись сам, Люций, что этот монах, примостившийся на голове богини, сильнее действует на воображение больных, чем я, корпящий в своей аптечке над ступками и скляниками. Существуют, Люций, силы куда могущественнее разума и науки.

— Какие именно? — спросил Котта.

— Невежество и безрассудство,— отвечал Аристей.

— Мне редко доводилось наблюдать что-либо любопытнее того, что я вижу сейчас,— продолжал Котта,— и мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь искусный писатель рассказал историю основания Стилополиса.

Одиако даже самые редкостные зрелища ие должиы задерживать человека степеииого и трудолюбивого дольше, чем следует. Пойдем же и осмотрим каиалы. Прощай, добрый Пафиутий! Или вериее — до свидаиия! Если ты спустишься со столпа и паче чаяиия вериешься в Алексаидрию, ие забудь зайди ко мие поужииать!

Слова эти, сказаииые при миогочислеииых свидетелях, стали переходить из уст в уста, а верующие с особым усердием распростраияли их, и это еще приумиожило иесравиеииую и громкую славу Пафиутия. Благочестивые домыслы всячески приукрашались и перекиачивались, и в ироде уже стали рассказывать, будто праведиик с высот своего столпа обратил иачальиика флота в веру, исповедуемую апостолами и отцами Никейского собора. Христиаие придавали последиим словам Люция-Аврелия Котты ииосказательиый смысл; по их толковаиию, ужии, иа который саиовиик пригласил столпиика,— ие что иное, как святое причастие, духовиая трапеза, иебесиое пиршество. Рассказ об этой встрече расцвечивали чудесиыми зиамеииями, и тот, кто выдумывал их, первый же им и верил. Передавали, будто в тот миг, когда Котта, после долгого спора, позиал истииу, с иеба сиизошел аигел и отер пот с его чела. Добавляли, что врач и писец последовали примеру иачальиика флота и тоже обратились. Чудо было столь очевидио, что дьякоиы главиейших ливийских церквей составили его достовериое описаиие. Можио без преувеличеиия сказать, что с этого дия весь мир загорелся желаиием узреть Пафиутия и что к иему обратились изумлеииые взоры всех христиаи и Запада и Востока. Славиейшие города Италии посылали к иему посольства, и сам римский цезарь, божествеииый Коистант, блюститель чистоты христиаиской

веры *, обратился к подвижнику с письмом, которое ему с великой торжественностью доставили послапцы императора. И вот однажды, в то время как город, расцветший у его ног, спал, окропленный росою, столпник услышал голос, вещавший ему:

— Пафнутий! Ты прославился делами своими, и слово твое могущественно. Бог вдохновляет тебя во славу свою. Он избрал тебя, чтобы творить чудеса, исцелять страждущих, обращать неверных, просвещать грешников, посрамлять ариан и восстановить в Церкви мир.

Пафнутий ответил:

— Да свершится воля господня!

Голос продолжал:

— Встань, Пафнутий, и ступай к нечестивому Констанцию, который не только не следует мудрому примеру брата своего Константа, но даже поощряет заблуждение Ария и Марка. Ступай! Бронзовые ворота дворца распахнутся пред тобою, и сандалии твои застучат по золотым плитам базилик, перед престолом цезарей, и твой грозный голос преобразит сердце Константинова сына. Ты станешь во главе умиротворенной и несокрушимой Церкви. И подобно тому как душа руководит телом, церковь будет руководить империей. Тебя вознесут выше сенаторов, комитов и патрициев. Ты утолишь голод народа и обуздаешь дерзость варваров. Старик Котта признáет тебя первым среди сановников и будет добиваться чести омыть тебе ноги. После кончины твоей твою власяницу отвезут александрийскому патриарху, и великий Афанасий, убеленный сединами славы, приложится к ней как к святыне. Ступай!

Пафнутий ответил:

— Да исполнится воля господня!

И, с усилием встав на ноги, он уже собрался было спуститься со столпа. Но голос, разгадав его помыслы, сказал:

— Только не сходи по этой лестнице. Это значило бы поступить как заурядный человек и не дорожить высоким даром, которым ты наделен. Постигни же собственное могущество, ангелоподобный Пафнутий. Такой великий святой, как ты, должен парить в воздухе. Прыгай! Херувимы здесь, возле тебя; они тебя поддержат. Прыгай же!

Пафнутий ответил:

— Да будет воля господня на земле и на небесах!

Он стоял, размахивая широко распростертыми руками, словно огромная больная птица, машущая обломанными крыльями, и уже готов был броситься вниз, как чье-то мерзкое хихиканье прозвучало над самым его ухом. Он в ужасе спросил:

— Кто это так смеется?

— Ха-ха,— взвизгнул голос.— Мы с тобою еще только начинаем дружить, но в один прекрасный день ты спознаешься со мною поближе. Любезный мой, это я заставил тебя подняться сюда и должен тебе сказать, что я вполне удовлетворен тем, как покорно выполняешь ты мои веления. Пафнутий, я доволен тобою.

Пафнутий пролепетал сдавленным от ужаса голосом:

— Отыди! Отыди! Узнаю тебя: ты тот, кто вознес Христа на крыло храма и показал ему все царства мира сего.

Он в изнеможении упал на камень.

«Как не распознал я его раньше? — думал он.— Я немощнее всех слепцов, глухих, паралитиков, которые уповают на меня! Я утратил дар понимать сверхъестественное; я стал хуже безумцев, грызущих

землю и вожделеющих к трупам, я перестал отличать адские вопли от небесных голосов. Я беспомощнее новорожденного; ведь даже младенец плачет, когда его отнимают от груди кормилицы, даже собака нюхом находит след хозяина, даже растение само поворачивается к солнцу. Я игрушка в бесовских руках. Итак, я приведен сюда сатаною. Когда он возносил меня на эту вершину, мне сопутствовали гордыня и похоть. Не безмерность искушений удручает меня; Антоний, удалившись на гору, подвергался не меньшим испытаниям. И пусть их острие пронзит мою плоть пред ликом ангелов. Я дошел до того, что даже радуюсь своим терзаниям. Но бог безмолвствует, и его молчание изумляет меня. Он меня покидает, а ведь он — единственная моя опора; он бросает меня в одиночестве, и мне без него жутко. Он удаляется от меня. Я хочу бежать вслед за ним. Камень жжет мне ноги. Скорее! Бежать! Не разлучаться с богом!»

Он схватил лестницу, прислоненную к колонне, стал ногами на перекладину и, спустившись на одну ступеньку, оказался лицом к лицу с головой женщины, увенчанной коровьими рогами; она странно ухмылялась. Тут столпнику стало ясно, что он принимал за место своего успокоения и славы то, что на самом деле было дьявольским орудием его смятенья и погибели. Он поспешно спустился вниз. Ноги его уже отвыкли от земли и дрожали. Но он чувствовал на себе тень проклятого столпа и, сделав усилие, побежал. Все вокруг спало. Он незамеченным пересек площадь, окруженную харчевнями, кабаками и караван-сараями и завернул в переулок, ведущий кверху, к ливийским холмам. Какая-то собака с лаем следовала за ним и отстала только там, где начались пески пустыни. И Пафнутий пошел по равнине, где не было иных

дорог, кроме звериных тропок. Оставив позади покинутые хижины фальшивомонетчиков, гонимый отчаянием, он брел всю ночь и весь день.

Наконец, уже совсем изнемогая от голода, жажды и усталости и все еще не ведая, далеко ли ему до бога, он увидел безмолвный город, который расстилался вправо и влево, вплоть до пурпурного горизонта. Широко разбросанные строения, похожие одно на другое, напоминали пирамиды, усеченные на полвысоты. То были гробницы. Двери в них были выломаны, и в сумраке мавзолеев поблескивали глаза волков и гиен, хищники кормили своих детенышей, а мертвецы валялись на полу, обобранные грабителями и обглоданные зверьем. Миновав это мрачное селение, Пафнутий в изнеможении упал возле склепа, возвышавшегося в стороне, у ручья, осененного пальмами. Склеп был богато украшен, но дверь в нем тоже была выломана, и внутри виднелась каморка с расписными стенами, в которой змеи свили себе гнездо.

— Вот,— вздохнул он,— уготованная мне обитель, вот скиния моего покаяния и искупления.

Он дополз до склепа, ногою разогнал гадов и пролежал на каменных плитах восемнадцать часов, после чего с трудом добрел до источника и напился, зачерпнув воды рукою. Затем он нарвал немного фиников и несколько стеблей лотоса и съел зерна. Он решил, что такой образ жизни ему и подобает и что надо и в дальнейшем придерживаться его. С утра до ночи он лежал распростершись ниц на каменном полу.

И вот однажды, лежа так, он услышал голос, сказавший ему:

— Посмотри на эти картины себе в назидание.

Он приподнял голову и увидел на стене склепа картины, изображающие жизнерадостные семейные

сцены. Они были очень древнего письма и отличались большой живостью. Тут изображены были повара, разводившие огонь и поэтому смешно надувшие щеки другие ощипывали гусей или варили в котлах бараньи окорока. Подальше охотник нес на плечах газель, пронзенную стрелами. Там — трудились земледельцы: сеяли, жали или убирали урожай. В другом месте женщины плясали под звуки лютни, флейт и арф. Девушка играла на кинноре. В ее черных волосах, заплетенных тонкими косичками, сиял цветок лотоса. Под прозрачной туникой виднелись чистые очертания ее тела. Ее груди и уста говорили о поре цветения. Прекрасный глаз ее смотрел прямо, хотя лицо было изображено сбоку. Весь облик ее был восхитителен. Взглянув на нее, Пафнутий потупился и ответил голосу:

— Зачем ты повелеваешь мне смотреть на такие картины? Ведь они рисуют земную жизнь того язычника, прах которого покоится у меня под ногами, в глубокой могиле, в черном базальтовом гробу. Они напоминают о жизни человека, который уже умер, и, несмотря на всю яркость красок, это всего-навсего лишь тень тени. Жизнь усопшего! О тщета!

— Он умер, но он жил,— возразил голос,— а ты умрешь, так и не изведав жизни.

С этого дня Пафнутий уже не знал ни часа покоя. Голос говорил с ним непрестанно. Девушка с киннором пристально смотрела на него глазом, обрамленным длинными веками. Она тоже говорила:

— Смотри: я таинственна и прекрасна. Люби меня, утоли в моих объятиях страсть, которая терзает тебя. Что пользы меня бояться? От меня не уйдешь: я олицетворение женской красоты. Куда думаешь ты бежать от меня, безумец? Образ мой ты найдешь в пестроте цветов и стройности пальм, в полете голубок, в прыжках

газелн, в плавном течении ручейков, в мягком свете луиы, а закрыв глаза, ты найдешь его н в самом себе. Прошло тысяча лет с тех пор, как человек в повязке, покоящийся здесь, на черном каменном ложе, прижимал меня к сердцу. Прошло тысяча лет с тех пор, как я в последний раз поцеловала его, а поцелуй этот и до сего дня наполияет его сон благоуханием. Ты хорошо знаком со мной, Пафнутий. Как же ты не узнал меня? Я одно из бесчисленных воплощений Таис. Ты монах ученый, и тебе доступен смысл явлений. Ты долго странствовал, а в странствиях учишься многому. Нередко за день, проведенный вдали от дома, узнаёшь больше нового, чем за десять лет, проведенных в своих четырех стенах. И ведь ты, конечно, слышал, что Таис некогда жила в Спарте под именем Елены. В Фивах Стовратных она жила в другом облнчии. Так вот: фиванскою Таис была я. Как же ты не распознал это? При жизни я приняла немалую долю грехов мира, но и теперь, когда я всего лишь тень, я все же могу взять на себя твои грехи, возлюбленный инок. Чему же ты так удивляешься? Ведь нет никакого сомнения, что куда бы ты ни пошел, ты всюду найдешь Таис.

Он бился головой о каменный пол и кричал от ужаса. И каждую ночь девушка с киннором сходила со стены, приближалась к нему и разговаривала с ним ясным голосом, веявшим свежими дуновениями. Но праведник не поддавался ее искушениям, и она сказала так:

— Люби меня. Покорись, друг мой. Доколе ты будешь противиться мне, я не перестану мучить тебя. Ты не представляешь себе, что такое терпение умершей. Если понадобится, я подожду, пока и ты умрешь. Я волшебница, я вдохну тогда в твое безжизненное тело дух, который вновь оживит его и не откажет мне в том,

о чем я сейчас тщетно прошу тебя. Подумай, Пафнутий, как странно будет, когда твоя блаженная душа увидит с высоты небес свое собственное тело, предающееся греху. Сам бог, обещавший возвратить тебе тело после Страшного суда и конца мира, будет этим немало смущен. Как же утвердит он во славе небесной человеческую плоть, одержимую бесом и охраняемую колдуньей? Ты не подумал об этой помехе. Вероятно, не подумал и бог. Между нами говоря, он не очень хитер. Самая простая кудесница легко проведет его, и не будь в его распоряжении хлябей небесных и грома, так даже деревенские ребятишки дергали бы его за бороду. Что и говорить, он далеко не так мудр, как старый змий, его противник. Этот-то — чудесный мастер! Я столь прекрасна только потому, что он сам потрудился над моей внешностью. Это он научил меня заплетать косы и красить пальцы в розовый, а ногти в черный цвет. Ты не оценил его. Придя сюда, чтобы поселиться в этом склепе, ты ногами разогнал змей, обитавших тут, и даже не позаботился узнать, не его ли это родичи, и ты даже раздавил их яйца. Берегись, бедный друг мой, ты навлек этим на себя большую беду. Тебя предупреждали, что он музыкант и к тому же влюблен. А ты что сделал? Ты рассорился с наукой и красотой. Ты низко пал, и Иегова не помогает тебе. Да, вероятно, и не поможет. Он необъятен, как бесконечность, и поэтому за отсутствием места не может двигаться. А если он паче чаяния сделает хоть малейшее движение, вся вселенная распадется. Прекрасный отшельник, поцелуй меня.

Пафнутий хорошо знал, каких превращений можно добиться при помощи колдовских чар. Он думал, объятый великой тревогой: «Быть может, покойнику, погребенному у меня под ногами, ведомы словеса таинственной книги, зарытой неподалеку отсюда в недрах

царской усыпальницы? Силою заклинаний мертвецы могут вернуть себе обличье, которым они были наделены на земле, и вновь видеть солнечный свет и улыбки женщин».

Он боялся, как бы девушка с кинниором и покойник вновь не сочетались, как при жизни, и страшился стать свидетелем их объятий. Порою ему чудились легкие звуки поцелуев.

Все смущало его; и теперь, в отсутствии бога, он так же боялся думать, как и чувствовать. Однажды вечером, когда он по обыкновению лежал, распростершись на полу, чей-то незнакомый голос сказал ему:

— Пафнутий, на земле куда больше народов, чем ты думаешь, и если бы я показал тебе то, что видел сам, ты бы умер от испуга. Есть люди с одним-единственным глазом на лбу. Есть люди, у которых только одна нога, и поэтому они ходят подпрыгивая. Есть люди, которые меняют пол и из самок превращаются в самцов. Есть люди-деревья, пускающие в землю корни. И есть люди без головы, с глазами, носом и ртом на груди. Неужели ты в самом деле считаешь, что Христос принял смерть ради таких людей?

В другой раз ему было видение. Пред ним предстала широкая дорога, залитая светом, ручейки и сады. По дороге верхом на сирийских конях вскачь неслись Аристобул и Кереас, и щеки их пылали от веселого задора. Калликрат, стоя под портиком, читал вслух стихи; удовлетворенная гордость звучала в его голосе и светилась во взоре. Зенофемид, прогуливаясь по саду, срывал золотые яблоки и ласкал лазоревокрылого змея. Гермодор, в белом облачении, со сверкающей митрой на челе, предавался размышлениям под священным персиковым деревом, сплошь усеянным вместо цветов кро-

шечиными головками с правильными чертами лица и с прическами, украшенными, как у египетских богинь, коршунами, грифами или сверкающим диском луны; в сторонке же, у фонтана, Никий изучал на армиллярной сфере стройное движение светил.

Потом к иноку подошла женщина под покрывалом, с веткою мирта в руке. И она сказала ему:

— Гляди. Одни ищут вечную красоту и заключают бесконечное в свою мимолетную жизнь. Другие живут, не утруждая себя раздумьем. Они просто покоряются прекрасной природе и тем самым становятся счастливыми и прекрасными и самой своей жизнью воздают хвалу великому творцу всего сущего. Ибо человек — великолепный гимн богу. Но и те и другие считают, что счастье не греховно и что радость дозволена. А что, Пафнутий, если они правы? Какой же ты тогда глупец!

И видение сгинуло.

Так Пафнутий беспрерывно подвергался искушениям и тела и души. Сатана не давал ему ни мгновения покоя. Пустой с виду склеп кишел живыми тварями, как площадь большого города. Бесы заливались громким хохотом, и мириады ларвов, эмпуз и лемуров были заняты подобием всевозможных житейских дел. Вечерами, когда отшельник отправлялся к источнику, сатиры и нимфы начинали плясать вокруг него и завлекали его в свой развратный хоровод. Бесы уже не боялись его. Они осыпали его насмешками, непристойной бранью и били его Однажды какой-то бесенок, ростом едва ему по пояс, украл у Пафнутия ремень, которым тот препоясывался.

Пафнутий думал: «Мысль, куда завела ты меня?»

И он решил заняться ручным трудом, чтобы дать уму покой, в котором он так нуждался. Возле источ-

ника в тени пальм росли широколиственные бананы. Он срезал несколько банановых веток и отнес их в склеп. Он растер их камнем, как делают канатчики, и превратил в тонкие волокна. Ибо он решил свить себе бечевку взамен ремня, украденного лукавым. Это несколько смутило бесов: они перестали безобразничать, и даже девушка с кинниором, оставив колдовство, уже не сходила с раскрашенной стены. Пафнутий продолжал растирать банановые ветки, и это помогало ему утверждаться в мужестве и вере.

«С божьей помощью я одолею плоть,— думал он.— Душа же моя никогда не теряла надежды. Тщетно все бесы и эта окаянная пытаются внушить мне сомнения в природе бога. Я отвечу им устами апостола Иоанна: «В начале было слово... и слово было бог». В это я верю непоколебимо, а если то, во что я верю,— нелепость, я верю тем более непоколебимо; значит, тем лучше, если это нелепость. Иначе я не верил бы, а знал. А то, что знаешь, не дарует жизни; только в вере спасение».

Отделенные друг от друга волокна он выставлял на солнце и на росу, а по утрам тщательно переворачивал их, чтобы они не сгнили. И он радовался, чувствуя, что в нем вновь возрождается младенческое простодушие. Сплетя веревку, он нарéзал прутьев, чтобы сделать из них циновки и корзины. Внутренность склепа стала теперь похожа на мастерскую плетельщика, и Пафнутий легко переходил здесь от работы к молитве. Но, видимо, господь не благоволил к нему, ибо однажды ночью некий голос разбудил Пафнутия и поверг его в леденящий ужас; отшельник понял, что это голос мертвеца.

Голос звучал как нетерпеливый зов, как легкий шепот:

— Елена! Елена! Пойдем искупаемся вместе! Пойдем скорее!

Какая-то женщина под самым ухом инока, касаясь его губами, ответила:

— Я не могу встать, друг мой: на мне лежит мужчина.

Вдруг Пафнутий заметил, что щека его покоится на женской груди. Он узнал девушку с киннором; слегка высвободившись, она выпрямила стан. Тогда монах исступленно обнял это теплое и благоухающее девичье тело и, сжигаемый гибельным вожделением, вскричал:

— Останься, блаженство мое, останься!

Но она уже поднялась и стояла на пороге. Она смеялась, и лунный луч серебрил ее улыбку.

— Зачем оставаться? — возразила она.— Влюбленный с таким живым воображением удовлетворится и тенью тени. Да ты и так уже согрешил. Чего же тебе еще? Прощай. Меня ждет любовник.

В сгустившемся мраке послышались рыдания Пафнутия, а когда занялась заря, он обратился к небесам с молитвой, кроткой, как жалобное стенание:

— Христос, Христос, для чего покидаешь меня? Ты видишь, в какой я опасности. Подай мне помощь, сладчайший Спаситель. Раз отец твой отвратился от меня, раз он глух к моим мольбам, подумай, ведь у меня нет иной защиты, кроме тебя! Мы с ним перестали понимать друг друга: я не в силах постичь его волю, а он не хочет пожалеть меня. Но ты — ты рожден женщиною, и поэтому все упование мое на тебя. Вспомни, ведь ты был человеком. Я взываю к тебе не потому, что ты бог, исходящий от бога, свет от света, бог истинный от бога истинного, но потому, что ты жил нищим и слабым на той же земле, где я так стражду... потому

что сатана пытался искушать твою плоть .. потому что в смертный час чело твое покрылось холодным потом. К человечности твоей взываю я, Христос, брат мой Христос!

После того как он, ломая руки, произнес эту молитву, оглушительный раскат хохота потряс стены склепа и тот же голос, что раздавался на вершине столпа, сказал с насмешкой:

— Вот молитва, вполне достойная еретика Марка. Пафнутий стал арианином! Пафнутий стал арианином!

Монах рухнул без чувств, словно сраженный громом.

. . . .

Когда он вновь открыл глаза, он увидел вокруг себя монахов в черных куколях; они смачивали ему водой виски и читали молитвы об изгнании бесов. Многие из них стояли снаружи с пальмовыми ветвями в руках.

— Мы шли пустыней,— сказал один из монахов,— и услышали стоны, доносившиеся из этого склепа; мы вошли в склеп и нашли тебя распростертым без чувств на каменном полу. Нет никакого сомнения, что тебя повергли наземь бесы, а при нашем приближении они разбежались.

Пафнутий приподнял голову и слабым голосом спросил:

— Кто вы, братья? И зачем в руках у вас пальмовые ветви? Вы собираетесь хоронить меня?

Ему ответили:

— Разве ты не слыхал, брат, что отец наш Антоний, которому исполнилось сто пять лет, получил свыше предвозвестие о близкой кончине и решил поэтому спуститься с горы Кольцинской, где он жил отшельником, дабы благословить своих бесчисленных духовных чад? Мы идем с пальмами в руках навстречу нашему

пастырю. Но как же ты, брат, не знаешь о таком великом событии? Неужели ангел не явился к тебе сюда, в склеп, и не возвестил об этом?

— Увы,— отвечал Пафнутий,— я не достоин такой милости, и логово это навещают одни только бесы и вампиры. Молитесь за меня! Я Пафнутий, антинойский настоятель, презреннейший из слуг господних.

При имени «Пафнутий» все иноки стали помавать пальмовыми ветвями и шептать ему славословие. Монах, который уже говорил с Пафнутием, восторженно воскликнул:

— Неужели ты — святой Пафнутий, прославленный столькими подвигами, которые, как думают, со временем приравняют тебя к самому великому Антонию? Преподобнейший, это ты обратил к господу блудницу Таис и, пребывая на столпе, был унесен серафимами? Люди, стоявшие в ту ночь у подножья колонны, видели твое блаженное вознесение. Крылья ангелов окутали тебя белым облаком, и ты десницей своей благословлял жилища людей. На другой день, когда народ увидел, что тебя нет, громкие горестные стенания стали возноситься к развенчанной вершине столпа. Но ученик твой Флавиан возвестил о совершившемся чуде и принял на себя руководство братией. Один только человек — Павел Юродивый — вздумал перечить единодушному мнению окружающих. Он уверял, будто видел во сне, что тебя утащили бесы. Толпа хотела закидать его камнями, и только чудом избежал он смерти. Я — Зосима, настоятель отшельников, которых ты видишь распростертыми у твоих ног. Я тоже преклоняюсь перед тобою, дабы ты вместе с чадами благословил и отца. А потом расскажи нам о чудесах, кои господь восхотел совершить, избрав тебя своим орудием.

— Господь не только не удостоил меня своего благоволения, как ты полагаешь,— возразил Пафнутий,— а подверг меня жестоким искушениям. Меня не вознесли ангелы. Но темная завеса встала перед моими глазами и двигалась вместе со мною. Я жил как во сне. Вне господа — все сновидение. Когда я совершил путешествие в Александрию, я там за короткий срок услышал много речей и убедился, что полчищам людских заблуждений несть числа. Их рать преследует меня, я окружен мечами.

Зосима ответил:

— Досточтимый отче, следует принять во внимание, что святые, и особенно святые пустынножители, зачастую подвергаются страшным испытаниям. Если ты не был вознесен на небеса на руках серафимов, значит господь удостоил этой милости твой образ; ведь Флавиан, монахи и народ собственными глазами видели твое вознесение.

Тут Пафнутий решил, что и ему надо отправиться навстречу Антонию и получить его благословение.

— Брат Зосима,— сказал он,— дай мне пальмовую ветвь, и я пойду вместе с вами встретить отца нашего Антония.

— Пойдем,— ответил Зосима.— Монахам подобает ратный строй, ибо они прежде всего — воины. Мы с тобою, как игумены, пойдем впереди. Меньшая же братия последует за нами и будет петь псалмы.

И они тронулись в путь. Пафнутий стал говорить:

— Бог есть единство, ибо он истина, а истина едина. Мир многообразен потому, что он заблуждение. Надлежит отвернуться от всего сущего даже от самого безобидного на вид. Разнообразие, придающее явлениям мира прелесть, есть признак их пагубности. Поэтому стоит мне только увидеть пучок папирусов над водною

гладью, как душа моя омрачается печалью. Все, что воспринимают органы чувств, отвратительно. Малейшая песчинка несет в себе опасность, любая вещь соблазняет нас. Женщина — не что иное, как совокупность всех соблазнов, развеянных в легком воздухе, на цветущей земле, в прозрачных водах. Блажен тот, чья душа — запечатанный сосуд. Блажен тот, кому дано стать немым, слепым и глухим и кто ничего не понимает в мире, дабы понимать творца!

Зосима, обдумав слова Пафнутия, ответствовал так:

— Досточтимый отче, мне надлежит исповедовать тебе мои грехи, раз ты обнажил предо мной свою душу. Так мы, по завету апостолов, исповедуемся друг другу. Перед тем как принять монашество, я жил в миру самой постыдной жизнью. В Мадавре, городе, который славится блудницами, я предавался всем видам любви. Каждую ночь я пировал в обществе молодых распутников и флейтисток и приводил к себе домой ту, которая приглянулась мне больше других. Такой праведник, как ты, и представить себе не может, до чего доводило меня неистовство желаний. Достаточно тебе сказать, что я не щадил ни матрон, ни монахинь и не останавливался ни перед прелюбодеянием, ни перед святотатством. Я распалял свою похоть вином, и меня по справедливости называли самым отчаянным пьяницей среди мадаврцев. Между тем я был христианином и сквозь все свои заблуждения нес в глубине души веру в распятого Христа. Растратив в кутежах все свое состояние, я уже почувствовал первые признаки нищеты, а тем временем один из самых крепких моих товарищей по разгулу стал у меня на глазах чахнуть от какой-то страшной болезни. Ноги уже не держали его; трясущиеся руки отказывались ему служить; помутневшие глаза закрывались. Из горла

его вырывался лишь страшный хрип. Его ум, отяжелевший больше тела, был погружен в какое-то оцепенение. Ибо в наказание за то, что он жил, как скотина, бог и в самом деле превратил его в скотину. Потеря состояния и без того уже стала внушать мне спасительные мысли, но пример друга был мне еще полезнее: я был так потрясен, что покинул свет и удалился в пустыню. И вот я уже двадцать лет вкушаю там мир, который никогда ничем не нарушался. Вместе с братией я тружусь, работая, как ткач, зодчий, плотник и даже писец, хотя, признаюсь, письменные занятия мне не столь по душе, ибо я всегда отдавал предпочтение действию перед мышлением. Дни мои полны радостей, а ночи проходят без сновидений, и я уповаю, что милость господня пребывает на мне, ибо даже в пучине самых страшных грехов надежда никогда не оставляла меня.

При этих словах Пафнутий возвел глаза к небу и прошептал:

— Господи! На человека сего, оскверненного столькими злодеяниями, на сего прелюбодея, на святотатца ты взираешь с любовью, а от меня, который всегда был послушен твоим велениям, ты отвращаешь свой взор. Как непостижимо твое правосудие, боже мой, и как неисповедимы твои пути!

Зосима простер руку:

— Смотри, досточтимый отче, с обеих сторон горизонта тянутся черные нити, словно полчища переселяющихся муравьев. Это братья наши идут, как и мы, навстречу Антонию.

Дойдя до места, где назначена была встреча, они увидели величественное зрелище. Монашеская рать расположилась в три ряда огромным полукругом. В первом ряду стояли старцы-пустынножители с посохами

в руках, и бороды их ниспадали до самой земли. Монахи, состоявшие под началом игуменов Ефрема и Серапиона, а также иноки из нильских монастырей образовали второй ряд. Отшельники, спустившиеся с отдаленных скалистых гор, разместились позади. У одних почерневшие и исхудавшие тела были прикрыты жалким рубищем; у других всю одежду заменяли ветви, сплетенные в пучки. Иные были наги, но бог покрыл их густой растительностью, словно овечьим руном. Каждый держал в руках пальмовую ветвь; казалось, то раскинулась изумрудная радуга, и монахи подобны были сонмищу избранных, живой стене града господня.

Среди присутствующих царил такой порядок, что Пафнутий без труда разыскал свою паству. Он стал поодаль, прикрыв лицо свое куколем, чтобы братья не узнали его и не возмутилось бы их благоговейное ожидание. Вдруг раздались оглушительные крики.

— Святитель! — неслось со всех сторон.— Святитель! Вот великий угодник! Вот тот, перед которым отпрянули силы ада! Божий избранник! Отец наш Антоний!

Затем наступила великая тишина, и все распростерлись ниц на песке.

С вершины холма, среди бескрайней пустыни, спускался Антоний, поддерживаемый своими возлюбленными учениками Макарием и Амафасом. Он ступал медленно, но стан его еще держался прямо, и в нем еще чувствовались остатки прежней сверхчеловеческой силы. Белая борода раскинулась на широкой груди, блестящий череп отражал лучи света, как Моисеево чело. У него был орлиный взгляд; младенческая улыбка озаряла его круглые щеки. Благословляя народ, он

воздел руки, изможденные целым столетием неслыханных подвигов, и последняя мощь его голоса прозвучала в произнесенных им словах любви:

— Сколь прекрасны кущи твои, о Иаков! Сколь любы, о Израиль, твои шатры!

И тотчас же от края до края живой стены, как сладкозвучный раскат грома, загремел псалом: «Блажен муж богобоязненный».

Между тем Антоний, сопутствуемый Макарием и Амафасом, проходил по рядам старцев, отшельников и монахов. Этот ясновидец, узревший небо и ад, этот пустынник, из пещеры управлявший христианской Церковью, этот святой, поддерживавший в дни страшных гонений веру в мучениках, этот ученый, сокрушавший своим красноречием ересь, ласково обращался к каждому из духовных своих чад и по-родственному говорил ему «прости» в канун блаженной кончины, которую бог в своем благоволении, наконец, обещал ему.

Он говорил игуменам Ефрему и Серапиону:

— Вы начальствуете над многочисленным воинством и стали прославленными полководцами. Поэтому на небесах вы будете облечены в золотые доспехи и архангел Михаил наречет вас хилиархами* своих дружин.

Увидев старца Палемона, он обнял его и сказал:

— Вот самый кроткий и лучший из моих сынов. Его душа благоухает слаще цветка бобов, которые он сеет ежегодно.

К игумену Зосиме он обратился с таким словом:

— Ты не терял веры в божественное милосердие, поэтому мир господень пребывает с тобою. Лилии присущих тебе добродетелей зацвели на гноище твоего распутства.

К каждому обращался он со словами, преисполненными непогрешимой мудрости. Престарелым он говорил:

— Апостол видел вокруг престола божия двадцать четыре старца в белых одеждах, с венцами на челе.

Молодых мужей он наставлял:

— Будьте радостны, оставьте печаль в удел счастливцам мира сего.

Так, обходя ряды духовного воинства, он поучал детей своих. Видя его приближение, Пафнутий бросился на колени, раздираемый страхом и надеждой.

— Отче, отче,— воззвал он в отчаянии,— отче, приди мне на помощь, ибо я погибаю. Я привел к господу душу Таис, я жил на вершине столпа и в склепе. Мой лоб, беспрестанно повергнутый в прах, стал мозолистым, как колени верблюда. И все-таки бог отвратился от меня. Благослови меня, отче, и я буду помилован. Окропи меня иссопом, и я очищусь и засверкаю, как снег.

Антоний не отвечал. Он обратил на антинойских иноков взгляд, сияния которого никто не мог выдержать. Остановив взор свой на Павле, прозванном Юродивым, он долго всматривался в него, потом знаком подозвал его к себе. Все удивились, что святитель обращается к человеку, скудному разумом, но Антоний сказал:

— Господь удостоил его бóльшими милостями, чем кого-либо среди нас. Возведи горé взор свой, чадо мое Павел, и скажи нам, что ты видишь в небесах.

Павел Юродивый обратил очи ввысь; лицо его засияло, и язык обрел красноречие.

— Я вижу в небе,— сказал он,— ложе, затянутое пурпурными и золотыми тканями. Три девственницы зорко охраняют его, дабы к нему не приблизилась ни одна душа, кроме той избранной, для которой оно приуготовано.

Думая, что ложе это — символ его славы, Пафнутий уже обратился к богу с благодарственной молитвой. Но Антоний знаком повелел ему умолкнуть и внимать тому, что в восторге шепчет Юродивый:

— Три девственницы обращаются ко мне; они говорят: «Скоро праведница покинет землю. Таис Александрийская умирает. И мы приуготовили для нее ложе славы, ибо мы — ее добродетели: Вера, Страх божий и Любовь».

Антоний спросил:

— Возлюбленное чадо, что видишь ты еще?

Павел всматривался в небо с зенита до надира, с запада до востока, но ничего не видел, как вдруг на глаза ему попался антинойский настоятель. Лицо юродивого побледнело от священного ужаса, в зрачках блеснул отсвет незримого пламени.

— Я вижу,— прошептал он,— трех бесов, которые с ликованием готовятся схватить этого человека. Они приняли облики столпа, женщины и волхва. На каждом из них каленым железом выжжено его имя: у одного — на лбу, у другого — на животе, у третьего — на груди, и имена эти суть: Гордыня, Похоть и Сомнение. Я видел их.

Тут Павел снова впал в слабоумие, взор его помутнел, губы обвисли. Монахи антинойской общины с тревогой взирали на Антония, а праведник только молвил:

— Господь открыл нам свое справедливое решение. Мы должны чтить его и молчать.

Он направился дальше. Он шел, благословляя. Солнце, склонившееся к горизонту, озаряло старца сиянием славы, а тень его, безмерно увеличившаяся по милости неба, простиралась за ним, как бесконечный ковер,— в знак долгой памяти, которую этому великому праведнику суждено оставить среди людей.

Сраженный Пафнутий еще стоял на ногах, но уже ничего не слышал. В ушах его звучали только слова: «Таис умирает!» Такая мысль никогда не приходила ему в голову. Двадцать лет изо дня в день взирал он на голову мумии, но мысль, что смерть потушит взор Таис, показалась ему чудовищной и ошеломила его.

«Таис умирает!» Непостижимые слова! «Таис умирает!» Какой страшный и новый смысл заключают в себе эти два слова! «Таис умирает!» К чему же тогда солнце, цветы, ручейки и все творение? «Таис умирает!» К чему же тогда вселенная? Вдруг он рванулся. «Увидеть, еще раз увидеть ее!» Он побежал. Он не понимал, где он, куда стремится, но внутренний голос уверенно вел его: Пафнутий направился прямо к Нилу. Полноводная река была покрыта целым роем парусов. Он вскочил в лодку, снаряженную нубийцами, и здесь, простершись на носу, пожирая глазами пространство, кричал от муки и бешенства:

— Безумец, безумец я, что не обладал Таис, когда еще было время. Безумец я, что воображал, будто в мире есть что-то, кроме нее! О безрассудство! Я помышлял о боге, о спасении душ, о вечной жизни, словно все это имеет какую-то ценность для того, кто видел Таис. Как не понял я, что в одном поцелуе этой женщины заключается вечное блаженство, что без нее жизнь лишена смысла и превращается всего-навсего в дурной сон? О глупец! Ты видел ее и мечтал о благах иного мира! О трус! Ты видел ее и побоялся бога! Бог! Небеса! Что в них? Разве могут они предложить тебе нечто, что хоть в малой степени возместит дары, которые она принесла бы тебе? О жалкий безумец, искавший где-то божьей благодати, когда она только на устах Таис! Чья рука заслонила твой взор? Будь проклят тот, кто тогда лишил тебя зрения! Ценою веч-

ного осуждения ты мог заплатить за мгновенье ее любви и не воспользовался этим! Она открывала тебе объятия, созданные из плоти и из благоухания цветов, а ты не бросился к ней, не приник к ее обнаженным персям, чтобы вкусить несказанный восторг! Ты послушался голоса, который завистливо говорил тебе: «Воздержись!» Глупец, глупец, ничтожный глупец! О сожаление! О раскаяние! О безнадежность! Ты мог бы унести с собою в ад радостное воспоминание о незабываемом мгновении и крикнуть богу: «Жги мое тело, иссуши всю кровь в моих жилах, переломай мне кости,— тебе не отнять у меня воспоминания, от которого будет веять благоуханием и прохладой во веки веков! Таис умирает! Жалкий бог, если бы ты только знал, как я презираю твой ад. Таис умирает и уже никогда не будет моей,— никогда, никогда!»

И в то время как стремительное течение уносило лодку, он целыми днями лежал, твердя:

— Никогда, никогда, никогда!

Потом, вспомнив, что она отдавалась, но не ему, а другим, что она излила на мир целое море любви, а он даже не смочил в нем своих губ, он дико вскакивал и выл от нестерпимых мук. Он раздирал ногтями грудь и кусал себе руки. Он думал: «Если бы только я мог убить всех, кого она любила!»

Мысль об убийстве этих мужчин наполняла его упоительной яростью. Он мечтал о том, как он медленно, с наслаждением задушит Никия и при этом вопьется взглядом в его глаза. Потом неистовство его вдруг стихало. Он плакал, рыдал. Он становился слабым и кротким. Душа его смягчалась несказанной нежностью. Его охватывало желание броситься на шею к товарищу детства и сказать ему: «Никий, я тебя люблю, раз ты любил ее. Расскажи мне о ней! Повтори

мне то, что она тебе говорила». А слова: «Таис умирает!» — беспрестанно пронзали его сердце.

— Свет полуденный! Серебристые ночные тени, звезды, небеса, колышущиеся вершины деревьев, дикие звери, домашние животные, мятущиеся людские души, слышите ли вы? «Таис умирает!» Солнце, ветерки и благоухания — сгиньте! Рассейтесь, обличья и помыслы вселенной! «Таис умирает!» Она была украшением мира, и все, что приближалось к ней, сияло отсветами ее красоты. Как хороши были и старик и мудрецы, возлежавшие вместе с ней за пиршественным столом в Александрии! Как сладкозвучны были их речи! Целый рой ликующих образов порхал на их устах, и благоуханием неги были напоены все их мысли. Дыхание Таис парило над ними, и поэтому все, что они говорили, была любовь, красота, истина. Пленительное безбожие наделяло своим изяществом их речи. В них непринужденно выражалось все великолепие человека. Увы, и все это теперь только сон. Таис умирает! Пусть ее смерть сразит и меня! Да можешь ли ты умереть, чахлый росток, зародыш, умеренный в горечи и бесплодных слезах? Презренный выродок, тебе ли вкусить смерть, тебе ли, не знавшему, что такое жизнь? Лишь бы существовал бог, и лишь бы он проклял меня! Я надеюсь на это, я этого хочу. Ненавистный бог, услышь меня. Порази меня своим проклятием. Чтобы принудить тебя к этому, я плюю тебе в лицо. Мне необходимы вечные муки ада, дабы я мог вечно изливать клокочущую во мне ярость.

. . . .

На заре у порога скита Альбина приняла антинойского настоятеля.

— Добро пожаловать в наши мирные скинии, досточтимый отче, ибо ты, разумеется, пришел, чтобы благо-

словить праведницу, которую ты дал нам. Тебе ведомо, что господь в милосердии своем призывает ее к себе; да и как не знать тебе весть, которую ангелы возгласили во всех пустынях? Да, Таис приближается к блаженной кончине. Подвиги ее завершены, и я должна вкратце рассказать тебе о том, как она жила среди нас. После твоего ухода, когда она осталась в келье, запечатанной твоей печатью, я послала ей вместе с пищей флейту, вроде тех, на каких играют во время пиршеств девушки одного с нею ремесла. Я сделала это для того, чтобы она не затосковала, а предстала перед ликом божьим с неменьшей прелестью и с теми же талантами, какие она являла людям. Я поступила разумно, ибо Таис каждый день воздавала на флейте хвалу создателю, и девственницы, привлеченные звуками невидимой флейты, говорили: «Мы слышим соловья, поющего в небесных кущах, и умирающего лебедя распятого Христа». Так Таис искупала свои прегрешения; вдруг, на шестидесятый день, дверь, запечатанная тобою, сама собою растворилась, а глиняная печать распалась, хотя ее не трогала ни одна человеческая рука. По этому знаку я поняла, что искусу, который ты наложил на Таис, пришел конец и что господь простил ей ее грехи. С той поры она стала жить общей жизнью с моими питомицами, стала работать и молиться вместе с ними. Скромность ее поведения и речей служила им примером, и она была среди них как бы образом целомудрия. Случалось ей и взгрустнуть, но эти тучки быстро рассеивались. Когда я заметила, что она сочеталась с богом узами веры, надежды и любви, я решила воспользоваться ее искусством и даже ее красотой в назидание сестрам. Я просила ее представить перед нами дела достославных жен и мудрых дев, о которых говорится в Писании. Она

изображала Эсфирь, Дебору, Юдифь, Марию — сестру Лазаря и Марию — матерь Христа. Я знаю, досточтимый отче, что твоя суровость возмутится при мысли о таких зрелищах. Но ты и сам умилился бы, если бы видел, как она проливала при этом благочестивом представлении истинные слезы и воздевала к небесам руки, стройные, как пальмы. Я уже давно руковожу женщинами, и я взяла себе за правило не перечить их природе. Не все семена дают одинаковые плоды. Не все души очищаются одинаково. Надо принять во внимание и то, что Таис посвятила себя богу, пока еще была красива, а такая жертва, если и случается, так очень редко... Красота, природное одеяние Таис, еще не покинула ее, несмотря на то, что лихорадка, от которой она умирает, мучит ее уже четвертый месяц. С тех пор как она захворала, она беспрестанно выражает желание видеть небо, поэтому я велю каждое утро выносить ее во двор, к колодцу, под древнюю смоковницу, в тени которой старшие сестры этого скита обычно собираются на совет; там ты и найдешь ее, досточтимый отче. Но поспешай, ибо господь призывает ее к себе, и прекрасное лицо, созданное богом ради соблазна и изъдания миру, к вечеру уже будет скрыто саваном.

Пафнутий пошел вслед за Альбиной по двору, залитому утренним светом. На краю черепичной крыши сидели голуби, образуя словно жемчужную нить. Под сенью смоковницы на ложе покоилась Таис, вся белая, с руками, скрещенными на груди. По сторонам от нее стояли женщины под покрывалами; они читали отходную.

— Сжалься надо мною, господи, по великой милости твоей, и отпусти грехи мои по множеству щедрот твоих!

Он окликнул ее:

— Таис!

Она приоткрыла веки и обратила померкший взгляд в ту сторону, откуда послышался голос.

Альбина сделала женщинам знак, чтобы они немного отошли.

— Таис,— повторил монах.

Она приподняла голову; легкий шепот слетел с ее побелевших губ:

— Это ты, отче? Помнишь, как мы срывали финики и пили воду из источника? В тот день, отче, я родилась для любви... для жизни.

Она умолкла, и голова ее опустилась на грудь.

Смерть витала над нею, и капли холодного пота венчали ее чело.

Жалобный крик горлицы нарушил торжественную тишину. Потом к заунывным напевам девственниц примешались рыдания монаха.

— Избавь меня от скверны моей и очисти меня от грехов моих. Ибо я сознаю неправоту свою, и мерзость моя беспрестанно восстает на меня.

Вдруг Таис приподнялась. Ее фиалковые глаза широко раскрылись, и, блуждая взором, протянув руки к далеким холмам, она ясным и звонким голосом произнесла:

— Вот они, розы немеркнущей зари!

Глаза ее сияли; легкий румянец расцветил ее щеки. Она оживала и была упоительнее, прекраснее, чем когда-либо. Пафнутий бросился на колена, и его черные руки обвились вокруг ее тела.

— Не умирай,— кричал он каким-то странным голосом, которого сам не узнавал.— Я люблю тебя, не умирай! Слушай, моя Таис! Я обманул тебя, я всего

лишь жалкий безумец. Бог, небеса, все это — ничто. Истинна только земная жизнь и любовь живых существ. Я люблю тебя! Не умирай, этого не может быть, ты слишком хороша. Пойдем, пойдем со мною. Бежим! Я унесу тебя на руках далеко-далеко. Уйдем, будем любить друг друга. Услышь же меня, о возлюбленная моя, и скажи: «Я буду жить, я не хочу смерти». Таис, Таис, восстань!

Она не слышала его. Взор ее тонул в бесконечности.

Она прошептала:

— Небо разверзается. Я вижу ангелов, пророков и святых... Среди них — добрый Феодор, руки у него полны цветов; он улыбается и зовет меня... Два серафима летят ко мне. Они приближаются... как они прекрасны!.. Я вижу бога.

Она радостно вздохнула, и голова ее безжизненно откинулась на подушку. Таис преставилась. Пафнутий в отчаянии обнимал ее, снедаемый вожделением, бешенством и любовью.

Альбина крикнула ему:

— Уходи, проклятый!

И она нежно коснулась пальцами век усопшей. Пафнутий попятился, шатаясь; ему казалось, что языки пламени лижут ему глаза, а земля расступается под его ногами.

Монахини запели псалом Захарии:

— Благословен господь, бог Израиля!

Вдруг голоса их оборвались. Они увидели лицо монаха и разбежались, крича:

— Вампир! Вампир!

Он стал таким отвратительным, что, проведя рукой по лицу, сам почувствовал свое безобразие.

КОММЕНТАРИИ

«Таис» — одно из ранних произведений выдающегося французского писателя Анатоля Франса (1844—1924).

Сюжет этого произведения вынашивался долгие годы. Еще в 1867 г. А. Франс опубликовал стихотворный отрывок «Легенда о Таис, комедиантке»; над романом писатель начал работать в 1888 г., через год напечатал его в журнале «Ревю де Дё Монд» под названием «Таис. Философская повесть», а в 1890 г. новое произведение вышло в свет отдельным изданием.

Книга имела огромный успех и сделалась во Франции главным литературным событием 1890 г.; она была вскоре переведена на иностранные языки, не менее чем на восемнадцать, пользовалась особой популярностью в Англии, Италии, Америке, России. Уже в 1891 г. в Петербурге появился первый русский перевод романа под названием «Александрийская куртизанка».

В марте 1894 г. французский писатель Луи Галле опубликовал трехактную лирическую комедию «Таис» по роману Франса, которая послужила либретто к одноименной опере Массне. После успешной премьеры Франс в специальной статье одобрительно отозвался об опере и либретто.

Опера Массне, обошедшая сцены многих стран, способствовала еще большей популярности произведения А. Франса. В 1912 г. она была поставлена в Москве.

«Таис» — первое крупное произведение Франса исторического жанра. Писатель изобразил здесь эпоху угасания античного язы-

чества и возникновения христианства,— излюбленный им переходный период, к которому он многократно возвращался в своем творчестве.

В основу сюжета «Таис» положена старинная коптская (христианско-египетская) легенда о язычнице-куртизанке Таис, которая будто бы жила в Александрии в начале нашей эры, была обращена в христианскую веру и затем причислена церковью к лику святых под именем св. Таисии.

Эта легенда была известна А. Франсу по многим источникам. Ее неоднократно переписывали монахи позднегреческих монастырей, она была переведена на латинский язык, в X в. достигла Германии и была использована саксонской поэтессой монахиней Гросвитой для ее драм «Пафнутий» и «Авраам» (Анатоль Франс знал эти драмы по французскому переводу 1845 г., а затем, в 1888 г., видел их в постановке кукольного театра). В средние века легенда о Таис широко распространилась в разных версиях на разных языках. Упоминание о прекрасной обращенной язычнице А. Франс мог найти и у французского поэта XV в. Франсуа Вийона, и у гуманиста XVI в. Эразма Роттердамского. Наконец, в момент работы Франса над романом, в 1889—1890 гг., в печати сообщалось об открытии при раскопках в Египте мумий Таис и Серапиона (как в некоторых источниках назван Пафнутий). Но самую полную версию легенды давали «Жития отцов пустынников», изданные во Франции в 1761 г.

В статье по поводу оперы Массиэ А. Франс признавался:

«Я взял легенду в том виде, в каком нашел ее в пятидесяти строках «Житий отцов пустынников...»

А. Франс был не единственный во французской литературе, кто в последней трети XIX в. обратился к античности. Его интерес к этой эпохе разделяли в то время многие писатели, но отношение их к античности было различным: писатели, связанные с декадентством, поэтизировали умирание древнего мира, смаковали эротические сюжеты, сцены жестокостей, казней и пыток в «античной» рамке; прогрессивная литература искала в античности опору для своих гуманистических идеалов. К этому направлению принадлежал и А. Франс. Как и Флобер, автор романа «Саламбо» и повести «Иродиада», Франс связывает с античностью представление о прекрасном, человечном, он тоже хочет внушить читателю интерес и любовь к навеки ушедшему в прошлое миру, открыть в нем живое и важное для современности.

Но Франс по-особому понимал жанр исторического романа. В период работы над «Таис» он находился под влиянием философа-релятивиста Э. Ренана и искусствоведа-позитивиста И. Тэна и разделял их взгляды на исторический жанр в литературе, взгляды, отражавшие кризис буржуазной общественной науки во второй половине XIX в. и разочарование в ее методах.

В то время Франс полагал, что истина в истории относительна, что историк не в состоянии раскрыть настоящие причины и связь событий; ему остается лишь одно — заново творить людей и дела прошлого на основе своих субъективных представлений. А раз так, считал он, то писатель может достигнуть в истории гораздо большего, чем ученый: с помощью творческого воображения он лучше воссоздает психологию, характеры, страсти прошлых дней, а это и есть единственное реальное содержание истории. А. Франс считал, что история учит скептицизму, наглядно показывает относительность всех духовных форм, знаний, верований. Для понимания этих взглядов писателя особенно важен один эпизод романа «Таис» — философский пир в Александрии. Именно здесь автор показывает и сравнивает главные направления позднеэллинистической философской мысли, иронически отмечая правоту и неправоту каждого из собеседников, и в то же время проводит в их спорах аналогию с идейным разбродом конца XIX в.

Скептическим отношением к истории объясняется то обстоятельство, что Франс не стремился в «Таис» к исторической достоверности. Использовав для романа огромное количество научных и литературных источников, он тем не менее хотел создать лишь общую «психологическую» атмосферу древней александрийской цивилизации, а не воскресить конкретную историческую эпоху. Он сознательно пошел на анахронизм, поместив свою героиню в обстановку эллинистической культуры, хотя она согласно церковным книгам жила в IV в. н. э., то есть через пятьсот лет после того, как эллинистический период в истории Александрии уже завершился.

Франса привлекала прежде всего декоративная сторона истории, экзотика психики и нравов, красочность быта; общественные конфликты рабовладельческого общества на пороге его гибели не попали в поле зрения автора либо показаны односторонне: они сведены лишь к борьбе в области идеологии, борьбе философской и религиозной. Тем не менее А. Франс воссоздал картину жизни эллинистического Египта с такой пластической силой, что с ней

может соперничать во французской литературе только картина жизни древнего Карфагена в романе Флобера «Саламбо».

Сам писатель, однако, утверждал, что преследовал в «Таис» в первую очередь другую цель. В статье об опере Масснэ, разъясняя свой замысел читателям, Франс определил «Таис» как «элементарное пособие по философии и морали, иллюстрированное образами».

«То тут, то там меня поздравляют,— продолжал он,— с тем, что я воскресил александрийский мир и сумел передать его колорит. Но об этом-то я думал меньше всего. Когда я писал «Таис», я старался, напротив, ввести в мою сказку (а это сказка) только такие идеи, которые могут быть интересны моим современникам. Я как можно меньше превращался в египтянина и александрийца».

И действительно, при всей красочности исторической панорамы, при всей яркости изображенных в «Таис» исторических характеров, роман был тесно связан с современностью. «Таис» — это первый серьезный удар, нанесенный А. Франсом врагу всей его жизни — религиозному мракобесию. Здесь еще нет прямой политической критики церкви, какую мы находим в цикле романов «Современная история» (1897—1901), но, как в ранней поэме «Коринфская свадьба», писатель обличает в «Таис» изуверство христианства, противопоставляя ему светлый мир античного язычества. Назвав свое произведение «философской повестью», Франс прямо указывал на преемственную связь с пламенным борцом против церкви и религии — Вольтером. Этой книгой Франс включался, пусть в косвенной форме, в борьбу против реакционной католической церкви, которую вела в его время прогрессивная общественность. «Таис» вошла в ту традицию, которую во французской литературе XIX в. открыл обличительный образ архидиакона Клода Фролло из романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831) и продолжали тот же Гюго, создавший образ изувера-инквизитора Торквемады в одноименной драме (1881), Э. Золя, разоблачивший религиозные «чудеса» в романе «Лурд» (1894) и т. д.

Не случайно выход в свет «Таис» вызвал открытое недовольство реакционных клерикальных кругов. Так, некий иезуит Брюкер опубликовал две статьи против «Таис», в которых называл роман А. Франса «отвратительным», полным «порнографического реализма», «философским только по названию», утверждал, что история Пафнутия освещена автором пародийно, что легенду, благоухающую христианской чистотой, он превратил в непристойную фантазию.

На первую из этих статей А. Франс остроумно и язвительно ответил в «Проекте предисловия к «Таис», который был опубликован только в 1924 г.:

«Моя «Таис» очень рассердила некоего отца иезуита, который адресовал мне простодушные проклятия в своем журнале, специально присланном мне по этому случаю; не будь он так заботлив, я и до сих пор не знал бы ни о существовании означенного отца иезуита, ни о его гневе.

Одновременно какой-то журнал, издаваемый в Одессе, с неменьшим возмущением обвинял меня в том, что я отступаю в своей книге от учения православной церкви. Не угодив ни одному, ни другому, я утешался мыслью, что при всем желании не смог бы угодить обоим».

Интересно, что даже опера Масснэ «Таис», в которой ни музыка, ни текст не обладали и половиной идейной и художественной силы романа Франса, не давала покоя церковникам. Так, русская газета «Биржевые ведомости» сообщала 16 июня 1912 г., что «группа провинциальных священников обратилась в святейший синод с ходатайством о снятии с репертуара театров оперы Масснэ «Таис», мотивируя это ее кощунственным содержанием».

Таким образом, исторический роман А. Франса звучал при своем появлении вполне актуально.

В центре внимания автора «Таис» — духовная драма монаха Пафнутия (первоначально роман был даже назван его именем). Сам автор дал ключ к философской идее романа в словах: «Я хотел сделать так, чтобы Пафнутий погубил свою душу, желая спасти душу Таис».

С большой впечатляющей силой писатель показывает, как бьется Пафнутий в путах религиозного сознания, как он упорно отворачивается от прелести и красоты земной жизни ради нелепой идеи религиозного самоотречения. Для развенчания «святости» Пафнутия писатель пользуется богатой палитрой красок: тонкой иронией пронизана, например, сцена, в которой Пафнутий, поневоле очарованный красотой Таис, призывает бога в свидетели «мерзости греха»; изуверское сожжение монахом прекрасных произведений языческого искусства описано с негодованием, а некоторые сцены душевной борьбы Пафнутия — поистине трагичны. Христианская религия не принесла Пафнутию ни душевной ясности, ни счастья; надломленный, полный смятения и темных страстей, он тщетно цепляется за догму, противоречащую самой природе человека, и после долгих страданий терпит полное крушение. Догма убила

в нем живую душу, затмила его разум, исказила чувства и превратила человека, полного сил, жаждущего жизни и любви, в отвратительного «вампира».

По сравнению с изуверством христианской церкви А. Франсу представляется бесконечно более привлекательным античный мир с его гуманизмом, высокой культурой и свободно ищущей философской мыслью. Действие романа и персонажи расположены между двумя полюсами: суровой христианской Фиваидой и пышной языческой Александрией, и тяготеют к одной из них. Если первую олицетворяет аскет Пафнутий, для которого отказ от естественных радостей жизни составляет высшую добродетель, то вторая находит выражение в образе изнеженного эпикурейца Никия, для которого смысл жизни в наслаждении. Но, хотя многие стороны мироощущения Никия близки автору, все же и этот персонаж не является его идеалом. Напротив, снисходительная терпимость Никия столь же бесплодна, как слепой фанатизм Пафнутия, ибо она проистекает от равнодушия к людям. Воскресив атмосферу гибнущей эллинской цивилизации, А. Франс отказывает в правоте и угасающему язычеству и возникающему христианству; правда — на стороне живой прелести и красоты жизни, воплощенной в Таис.

Светлый образ Таис возвышается над всем романом, озаряя его отблеском своего очарования. Таис неотделима от людей и несет людям радость своего искусства и своей любви. В представлении окружающих она сливается с Ледой, Венерой, Еленой Прекрасной — образами, в которых человек античности выразил свой идеал красоты. Физическое совершенство гармонически сочетается в ней с душевной ясностью, неведомой Пафнутию. В христианском монастыре она остается такой же трогательно-наивной и цельной, такой же прекрасной, какой была во времена своего язычества. На протяжении всего романа Таис противопоставляется Пафнутию: чем больше он развенчивается, тем больше возвышается она; наконец в финале показано полное моральное торжество Таис. Здесь автор оставляет мягкий тон снисходительного скептицизма, его суждение становится суровым и решительным: он против мертвой догмы религии, за живую жизнь.

Обращение язычницы-куртизанки в христианство не делает ее союзницей Пафнутия, и в этом тоже проявляется ирония автора. Как и в других произведениях раннего периода, А. Франс отличает в «Таис» догматизм воинствующей церкви от наивной поэзии народных религиозных верований. В романе они представлены образами кротких христиан: отшельника Палемона, Павла Юродивого,

св. Антония, признающих благость земной жизни, и в особенности чернокожего раба Ахмеса, который научил Таис состраданию и любви к людям.

Именно способность любить и делает Таис святой. Это ясно показано в сцене сожжения богатств Таис, когда она пытается спасти от огня статуэтку бога любви Эрота и предлагает Пафнутию пожертвовать его в монастырь, говоря, что «при виде его каждый обратится сердцем к богу, ибо любви свойственно воспаряться к небесам». Это наивное отождествление мистической небесной любви с «греховной» земной любовью содержит в себе бо́льшую мудрость, чем вымученная и шаткая добродетель Пафнутия. Потерпев поражение в своей трагической, бесплодной борьбе против жизни, он слишком поздно приходит к выводу: «Истинна только земная жизнь и любовь земных существ».

В этой мысли, с большой художественной силой воплощенной в образах романа, и состоит гуманистический пафос «Таис» и секрет ее популярности.

Стр. 4. *Иссоп* — душистое растение, употреблявшееся в пищу как пряность.

Стр 6. *...мимы, плясуны, женатые священники... боялись отшельников.* — Христианская церковь, едва возникнув, начала гонения на народный театр, особенно на мимов — актеров, тесно связанных с языческим театром древнего Рима. Обязательное безбрачие было установлено сперва для монашества; позднее западная (католическая) церковь распространила это правило на все духовенство.

...с тех пор как Антоний... — Св. Антоний — один из наиболее популярных персонажей раннехристианских легенд; по преданию, он раздал свое имущество бедным и удалился от мира в пустыню, где дьявол тщетно искушал его видениями земных наслаждений, в том числе образами языческой античности. Этот сюжет, использованный многими художниками и писателями, был, в частности, положен в основу философской мистерии Флобера «Искушение святого Антония», оказавшей влияние на роман А. Франса.

Стр. 7. *...верил, будто род человеческий пережил потоп во времена Девкалиона...* — По греческому мифу, Девкалион, сын титана Прометея, спасся вместе со своей женой от потопа, устроенного Зевсом, чтобы уничтожить род человеческий и заменить его другим,

более совершенным. А. Франс иронически отмечает совпадение этого языческого мифа с библейским рассказом о всемирном потопе.

Стр. 8. *...постыдное действо из числа тех, что приписываются... Венере. Леде или Пасифае.*— В некоторых областях античного мира существовал культ Венеры как богини грубой чувственности; согласно греческим мифам Леда полюбила Зевса, принявшего образ лебедя; Пасифая воспылала страстью к быку.

Стр. 15. *...город, основанный македонцем* — Город Александрия, центр египетского государства Птолемеев, был основан в 332—331 г. до н. э. Александром Македонским. После того как Греция потеряла политическую независимость, Александрия сделалась средоточием греческой (эллинистической) культуры (IV—III вв. до н. э.).

Стр. 18. *...сам Цезарь поклонялся ему...*— Речь идет о римском императоре Константине (вступил на престол в 306 г., ум. в 337 г.), который, пытаясь посредством единства религии предотвратить распад Римского государства, в 313 г. разрешил свободное исповедание христианства, поддерживал христианскую церковь и сам крестился перед смертью.

Стр 25. *...зачумленный престол ариан...*— Ариане — христианская секта, осужденная официальной церковью. Секта названа по имени александрийского священника Ария (IV в.), который был изгнан из города, но пользовался поддержкой среди ремесленников и торговцев. Под знаменем арианской ереси объединялись различные оппозиционные элементы тогдашнего общества.

Стр. 26. *Поставить бы его в огороде вместо деревянного Приапа.*— Приап — бог плодородия, покровитель садов и стад (*ант. миф*), изображался в виде вертикально поставленного кола, на который сажали пойманного в огороде или на винограднике вора.

Стр. 27. *Храм Сераписа.*— Здесь находилась богатейшая библиотека (до 70 тыс. свитков), отделение знаменитой Александрийской библиотеки.

Акротерии — скульптурные или орнаментальные украшения, установленные на специальных постаментах над углами здания, по обе стороны античного фронтона.

Стр. 29. *Амелий, Порфирий и Плотин.*— Учение древнегреческого философа-идеалиста Платона (427—347 гг. до н. э.) нашло продолжение в мистической реакционной школе неоплатоников, возникшей в Александрии в III в. н. э. Плотин — главный представитель неоплатонизма; Порфирий и Амелий — его ученики.

Стр. 30. *...развлекаться... историей об Осле, Бочке, Матроне Эфесской.* — Здесь перечисляются так называемые «Милетские сказки» — небольшие рассказы фольклорного происхождения, возникшие в богатом греческом городе Милете и получившие литературную обработку в сборнике, составленном Аристидом Милетским (II—I вв. до н. э); пользовались большой популярностью у римлян, которые называли по аналогии милетскими сказками всякие веселые рассказы, преимущественно эротического содержания. Первые два из упомянутых выше сюжетов использованы римским писателем Апулеем (II в.) в романе «Метаморфозы, или Золотой осел»; третий — в романе «Сатирикон» Петрония (I в.).

Стр. 32. *...подражать сладостным песням, в которых Корнелий Галл воспевал Ликорис.* — Корнелий Галл — римский поэт времен Августа (конец I в. до н. э. — начало I в. н. в.), автор не дошедших до нас четырех книг элегий, посвященных римской куртизанке Ликорис. Был первым римским правителем, посланным в Египет.

Стр. 34. *Одна из галер со статуей Нереиды на носу...* — Нереиды — пятьдесят дочерей доброго морского бога Нерея (*греч. миф*); дружественные человеку божества.

Стр. 35. *...с закрытыми глазами, с повязкой на лбу...* — Народная легенда изображала поэта Гомера слепым старцем.

Анаксагор — греческий философ-материалист V в. до н. э. Для Пафнутия он олицетворяет враждебную христианству философскую мысль языческой античности, как Гомер — ее поэзию.

Стр 36. *Аспазия Милетская* — подруга Перикла, славившаяся своей красотой и образованностью; в ее доме собирались выдающиеся люди того времени.

Стр. 39. *Бывало... актеры в масках декламировали стихи Еврипида и Менандра... зрелищ, которыми в Афинах гордился сам Дионис... котурны...* — Древнегреческий театр был связан с культом бога Диониса; котурны — особая обувь трагических актеров, увеличивавшая их рост. Еврипид — великий афинский трагик (V в. до н. в.); Менандр (IV—III в. до н. в)— автор бытовых комедий (так называемой новоаттической комедии).

Росций — знаменитый римский актер конца II и начала I в. до н. в.

Стр. 40. *...Эпикура, который учит, что надо страшиться любого желания.* — Эпикур (341—270 до н. в), выдающийся философ-материалист и атеист эпохи эллинизма, в своей этике, выражая идеологию рабовладельческого общества, утверждал, что наиболее

разумным для человека является не деятельность, а уклонение от нее, покой (атараксия).

Стр. 41. *Началось представление.*— Сюжет пантомимы, в которой играет Таис, основан на следующем эпизоде из Троянского цикла мифов: один из величайших греческих героев Ахилл, сын Пелея, обеспечивший победу над Троей, полюбил юную троянку Поликсену, дочь Приама, но был изменнически убит ее братом Парисом, когда явился для бракосочетания. Чтобы успокоить тень Ахилла, его соотечественники, на обратном пути из Трои в Грецию, принесли пленную Поликсену в жертву богам. А. Франс не преминул провести ироническую параллель между жертвоприношением Поликсены и христианским мифом о жертвоприношении Христа.

Стр. 43. *...Лаису или Клеопатру.*— Лаиса (V в. до н. э.) — греческая гетера (куртизанка), красота которой вдохновляла многих поэтов, художников и скульпторов, так же как красота египетской царицы Клеопатры (I в. до н э.).

Стр 44. *Я дочь Приама и сестра Гектора...*— Гектор — сын Приама, павший под стенами Трои от руки Ахилла.

Стр. 48. *Эвр (греч. миф.)* — олицетворение восточного ветра.

Стр. 59. *Три года спустя после победы над Максенцием...*— Император Константин, разрешивший исповедание христианства, объединил в своих руках всю Римскую империю в результате многолетней борьбы с другими претендентами на власть, после победы над Максенцием, который до него был провозглашен императором в Риме.

Стр 62. *...на лбу у нее выступила холодная испарина; она позеленела, как трава...*— В описании страсти Таис А. Франс пользуется образами, взятыми из лирики древнегреческой поэтессы Сафо (конец VII — начало VI в. до и. э.), ср.:

...Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы...

(Перевод В. Вересаева)

Стр. 65. *...суки лают, когда мрачная Геката появляется на перекрестках дорог...*— Геката — трехликая богиня преисподней, ночных призраков и лунного света *(рим. миф.)*. Согласно народному суеверию она по ночам являлась на перекрестках дорог с душами умерших и пугала людей.

Стр. 73. *...звучит, как сказка, и напоминает древнюю Родопу...*— Родопа — легендарная египетская куртизанка, о которой рассказывал Геродот, греческий историк V в. до н. э.

Стр. 76. *Кто обратит мое сердце в купель силоамскую...*— Силоамская купель — водоем у источника, бьющего из скалы близ Иерусалима, воды которого считались священными.

Стр. 77. *Рука, которая вывела Авраама из Халдеи и Лота из Содома...* — По библейской легенде, благочестивый старец Авраам, преследуемый язычниками за проповедь единого бога, спасся, бежав из родной Халдеи в землю Ханаанскую; бежавший вместе с ним племянник, праведник Лот, поселился в городе Содоме и был выведен оттуда ангелами, перед тем как бог обрушил на этот развращенный город небесный огонь. Жена Лота была превращена в соляной столб за то, что вопреки запрету оглянулась на покинутый город.

Стр. 78. *...того, кто... испил воды из кувшина, поданного ему самаритянкой...* — Здесь и далее Пафнутий упоминает эпизоды из жизни Христа, приведенные в евангельских легендах.

...от неопалимой купины...— Намек на эпизод из библии: неопалимая купина — охваченный огнем, но не сгорающий терновый куст, из которого звучал голос бога, повелевавшего Моисею вывести свой пленный народ из Египта.

Стр. 80. *О пришествии его возвестили миру Давид и Сивилла...*— Давид — легендарный израильский царь, которому библейское сказание приписывает авторство религиозных песен («Давидовых псалмов»), составляющих псалтырь. Сивиллы в древней Греции — странствующие пророчицы; римские жрецы хранили особые книги темных изречений, принадлежавших, по преданию, Кумской сивилле, и толковали их применительно к разным случаям.

Стр. 83. *Сестра Харит, Мельпомена.*— Хариты *(греч. миф.)* или Грации *(рим. миф.)*— богини прелести и красоты; Мельпомена — муза трагедии.

Стр. 84. *Божественный Константин возвел твоих единоверцев в первые ряды друзей империи.*— См. прим. к стр. 18.

Стр. 85. *Если Марк — христианский Платон, то Пафнутий — христианский Демосфен.*— Христианская церковь не просто отвергала античную идеологию, а стремилась приспособить ее наиболее реакционные формы для обоснования христианства. Так, учение Платона и его эпигонов — неоплатоников — оказало большое влияние

на раннее христианское богословие. Демосфен (IV в. до н. э.) — величайший политический оратор древней Греции.

Эпикур в своем саду...— По преданию, философ Эпикур излагал ученикам свое учение в саду, окружавшем его дом.

Стр. 86. *...Констанций преследовал никейскую веру...*— В целях сохранения единства христианской церкви император Константин созвал в 325 г. Никейский собор, осудивший арианство и призывавший всех христиан следовать вновь составленному собором символу веры. После смерти Константина империя была разделена между тремя его сыновьями; один из них, Констанций (получивший власть над Азией и Египтом), поддерживал арианское учение, что привело к кровавым междоусобицам.

Стр. 87. *Клянусь Кастором, сегодня я видел прекрасного коня.*— Кастор и Поллукс (так называемые Диоскуры), по греческому мифу, близнецы, сыновья Зевса и Леды, вылупившиеся из одного яйца, чтились в Риме как воплощение воинской доблести; Кастор считался укротителем коней.

Стр. 88. *Благоговейно склоним головы перед последним стоиком.*— Стоики — представители стоицизма, эпигонского философского направления, возникшего в древней Греции около III в. до н. э. (основатель Зенон из Китиона). Стоицизм создал этику долга, утверждая, что единственное благо — добродетель. Ради внутренней свободы человек, по учению стоиков, должен стоять выше страстей и страданий.

Стр. 89. *...воспитывают в себе дух Эпиктета и Марка Аврелия.*— Эпиктет (ок. 50—138) и римский император Марк Аврелий (121—180)— видные философы-стоики; в борьбе против этики Эпикура проповедовали бесстрастие и отказ от радостей жизни. Оказали влияние на христианство.

Стр. 90. *...подобно Апису и тому подземному быку...*— Апис — в древнеегипетской религии священный бык, олицетворявший в глазах народа бога Озириса; последний образно назывался «быком преисподней». В эллинистический период александрийский бог Серапис отождествлялся с Озирисом-Аписом.

Стр. 91. *...златокрылый змий...*— Здесь Зенофемид по-своему пересказывает библейский миф о грехопадении первых людей и их изгнании из земного рая.

Стр. 92. *Иегова очень похож на Тифона, а Палладу афиняне всегда изображают со змеей.*— Здесь, как обычно у Франса, отмечается близость христианской легенды к языческим, античным

мифам. Иегова — наименование бога в иудейской религии. Тифон — огнедышащее чудовище с сотней змеиных голов, боровшееся с Зевсом за власть над миром и низвергнутое им в Тартар. Афина Паллада считалась богиней мудрости, символом чего и служила змея.

Стр. 94. *...орфические гимны и басни вроде Эзоповых.*— Орфические гимны, приписывавшиеся легендарному певцу Орфею, играли большую роль в таинствах в честь древнегреческого бога Диониса, начиная с VI в. до н. э. Позднее, в III—IV в. н. э., получило распространение учение мистической секты орфиков; александрийские ученые много занимались собиранием и изучением «орфической литературы». «Эзоповы басни» — народные обличительные басни древней Греции, творцом и зачинателем которых считается легендарный поэт VI в. до н. э. Эзоп.

...три божественных ума: Иисус Галилеянин, Василид и Валентин.— Василид и Валентин (II в. н. э.) — главные представители александрийского гностицизма, религиозно-философского направления, соединявшего христианскую теологию с неоплатонизмом и пифагорейством. Гностики были ярыми врагами материализма и расчистили почву для средневекового церковного мракобесия.

Стр. 101. *...этого сына боготворят под именами Гермеса, Митры, Адониса, Аполлона и Христа.*— Христианство, при своем возникновении, впитало в себя элементы существовавших тогда восточных религий (в том числе митраизм); прообразами Христа были умирающие и воскресающие боги других религий, в том числе античные Адонис и Гермес (считавшийся, между прочим, проводником душ умерших). Здесь мы снова встречаемся с излюбленной мыслью А. Франса о совпадении различных религиозных культов.

Он истинный сын божий. Но он не вечен, раз он имел начало.—Это утверждение, означающее в сущности отрицание божественной природы Христа, было главным догматом арианства, осужденным как ересь Никейским собором.

Афанасий (IV в.) — александрийский епископ — фанатический противник ариан, боровшийся против них всю жизнь.

Стр. 102. *...второй Платон.*— Имеется в виду философ Плотин (см. прим. к стр. 29).

Стр. 103. *...безумец предается неистовству, как Аякс... кровосмесительница повторяет преступления Федры...* — По греческому мифу, герой Аякс, сын Теламона, оскорбленный тем, что доспехи

погибшего Ахилла были присуждены, как достойнейшему, не ему, а Одиссею, впал в безумие от ярости: целую ночь он неистовствовал и перебил стадо быков, приняв их за своих врагов и обидчиков. Безумие Аякса стало сюжетом трагедии Софокла «Аякс». Федра — молодая жена царя Тезея, которая полюбила своего пасынка Ипполита, была отвергнута им, оклеветала его перед отцом и узнав о его гибели, покончила с собой. Федра — действующее лицо трагедии Еврипида «Ипполит».

...делаешь из прекрасной девушки отвратительную Медузу.— Медуза — одна из трех горгон, чудовище в женском обличье, со змеями вместо волос и с таким страшным лицом, что всякий, взглянувший на нее, превращался в камень (*греч. миф.*).

Стр. 104. *...ненависть, какую иные из учеников Павла-ткача питают...* — Имеется в виду один из легендарных основателей христианства апостол Павел, который, по преданию, в юности изучал ткацкое дело.

Стр. 105. ...со *священными кошницами Цереры...*— Церера (или Деметра)— богиня земледелия (*ант. миф.*).

Когда Евноя, мысль бога, сотворила вселенную...— Евноя, или Эннойя — символ творческой мысли верховного божества в гностических системах первых веков христианства. Сказание об Евное в «Таис» находится в преемственной связи с образом Эннойи в «Искушении святого Антония» Флобера.

Стр. 107. *...во время одного из своих превращений, божественная Елена жила у Симона Волхва.* — Симон Волхв — основатель гностической секты симониан или елениан (существовала еще в III в. н. э.). По преданию, он выкупил в Тире из притона женщину по имени Елена и возил ее с собой, выдавая за воплотившуюся мысль бога — Евною, а самого себя объявил воплощением бога в трех лицах.

Стр. 121. *...костер... разгорелся ярче Сарданапалова...*— По преданию, последний ассирийский царь Сарданапал, осажденный в своем дворце врагами, поджег дворец и погиб вместе со своими женами и сокровищами.

Стр. 123. *Клянусь Поллуксом и его сестрой...*— Согласно греческому мифу Елена Прекрасная была дочерью Зевса и Леды, а следовательно, сестрой близнецов Кастора и Поллукса.

Стр. 128. *Трактаты Метродора.*— Метродор Младший — главный ученик философа Эпикура; отрывки из его сочинений хранились у Плутарха, у Сенеки, у Климента Александрийского.

Стр. 133 *Их звали Мариями... Тех же, которые работали, звали Марфами...* — Эти имена связаны с эпизодом из евангелия: при посещении Инсусом Христом дома сестер Марии и Марфы одна из них, Марфа, стала хлопотать по хозяйству, другая же, Мария, оставалась подле Христа, погруженная в благоговейное созерцание его.

Стр. 135. *Евфорбия* (греч.)— молочай.

Стр. 159. *...божественный Констант, блюститель чистоты христианской веры...*— Констант (323—350) — третий сын императора Константина, в 333 г. провозглашенный цезарем в Риме; ревностный сторонник решений Никейского собора, нетерпимый к арианству.

Стр. 176. *Хилиархи* (греч.) — начальники над тысячей воинов.

С. Брахман.


Цена 3 руб. 10 коп.